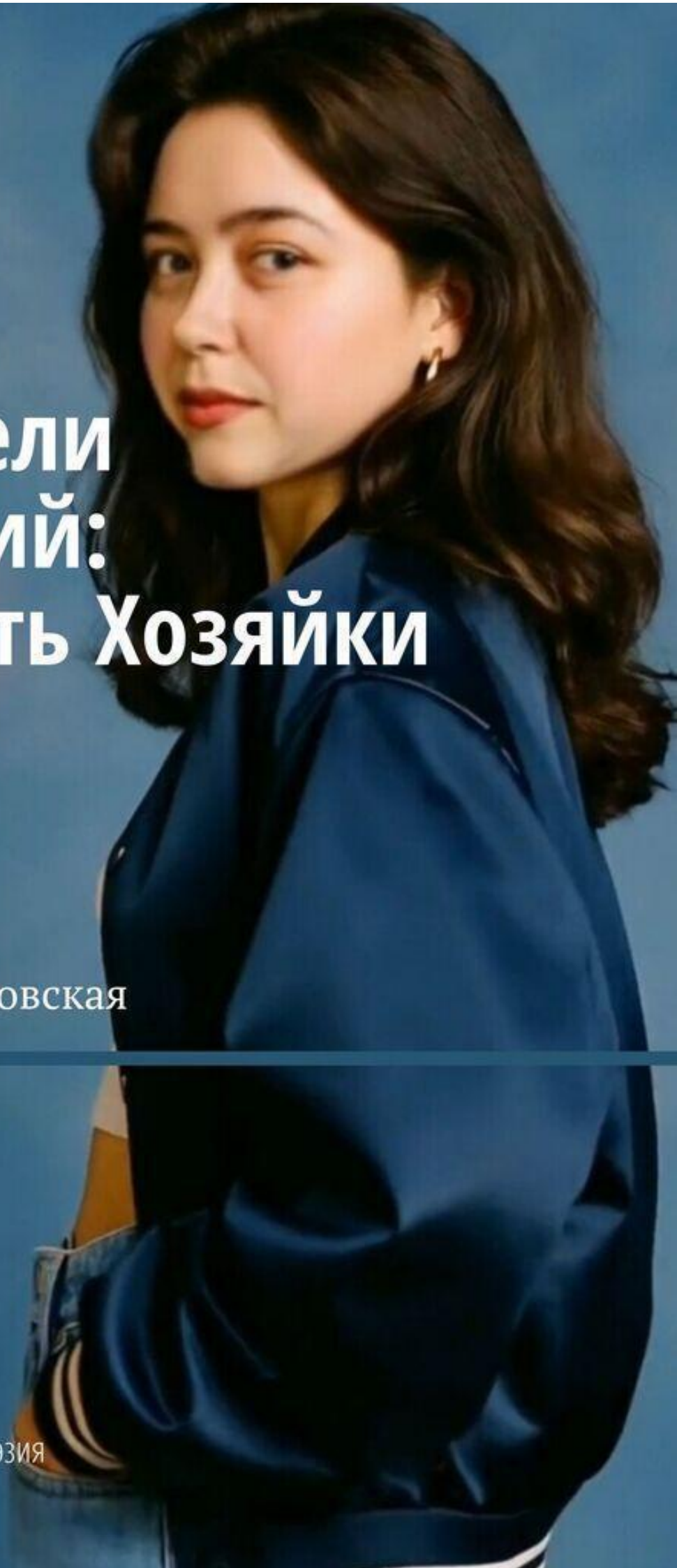


18+

Хранители традиций: Мудрость Хозяйки Тайги

Наталья Червяковская

Современная проза и поэзия



Наталья Червяковская

**Хранители традиций:
Мудрость Хозяйки Тайги.
Современная проза и поэзия**

«Издательские решения»

Червяковская Н.

Хранители традиций: Мудрость Хозяйки Тайги. Современная проза и поэзия / Н. Червяковская — «Издательские решения»,

Книга сия, «Хранители традиций: мудрость Хозяйки Тайги», — третий свиток родовой летописи Ванцевых: Фёдора Викторовича, Надежды Александровны, чад их, маламута Тундры и оленухи. Вобрало в себя это писание два десятка лет жития, где «Природа вне времени...» и «Моя Монголка...» — три книги, пронизанные сакральным ведением, словно жилами земными. Не спеши разверзать их, покуда духи предков али Боги Родные сами не позовут тебя за собой в мир чародейства. Прекрасная быль о любви, что выше суеты земной.

© Червяковская Н.

© Издательские решения

Содержание

Златогорка: совершеннолетие вкуса с липовым цветом	6
Круглый стол	33
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Хранители традиций: Мудрость Хозяйки Тайги Современная проза и поэзия

Наталья Червяковская

© Наталья Червяковская, 2026

ISBN 978-5-0070-8329-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Златогорка: совершеннолетие вкуса с липовым цветом

В её глазах не отблеск ламп, а юный добрый свет,
Ей бабушка дарила ритм, а с ним — простой ответ.
Не нужно мерить путь чужой и гнуться в три дуги,
Достаточно внутри себя найти свои шаги.

Дочь яра, дочь огня, наследный жар в груди,
То, что горело до меня — горит и впереди.
Не потушить, не обмануть, не спутать провода,
Во мне идёт по роду путь горящая вода.

Слова её — не просто звук, не брошенная медь,
Она умеет, как никто, смотреть и не болеть.
Там, где другие ищут тень, боясь живых углей,
Она стоит и греет день присутствием вещей.

И если спросят: что беречь, когда темно вокруг?
Я протяну открытый меч своих горячих рук.
И тихо встану на порог, чтоб свет не упустить,
И научусь благодарить, а после — отпустить.

Смотреть сквозь ткани трёх несшитых сфер
И видеть корни, спящие в глубинах,
В глазах её — не зарево химер,
А отсвет истин, выкованных в льдинах.

Земная мать монгольской красоты,
Хозяйка Тайги — вторая мать ей стала,
Что дочерей и внуков обняла,
Им тайны мирозданья открывала.

А та, о ком поём, пришла на свет
Не от случайной искры, не от скуки —
В родителях горел любви обет,
Что плавил даже каменные руки.

И братья есть у ней — не тени, нет,
А кровные щиты, земные стражи,
И оленуха-мать хранит от бед,

Дорогу вьёт и путь-судьбу не вяжет.

История ещё не спета в твердь,
Она пульсирует у горла, в венах,
Нам предстоит вписать в неё не смерть,
А продолжение в днях благословенных.

Дочь рода, где шаманы по крови,
Где каждый вздох пропитан древней силой,
Где даже ворон, страж иной любви,
Кружит над той, что мать в себе носила.

Мы нить прядём, мы новый пишем сказ,
Где девочка, рождённая любовью,
Стоит меж трёх миров, не пряча глаз,
И говорит с Тайгой негромкой кровью.

И тятя с мамой рядом, и три брата,
И бабушка-шаманка в сизом дыме,
Хозяйка Тайги — опора бытия,
Что на века стоит непобедимо.

Так пусть строка ложится, как тропа,
Что вьётся от очажного порога
Туда, где эта девушка-судьба
Врастает корнями в сердце диалога.

Меж тем, что было, будет и живёт,
Три мира дышат в такт её дыханью,
Огонь в груди не гаснет, а поёт,
И вторит мироздание сказанью.

Стоял на дворе месяц июль, что славяне исстари Липнем величали. Прозывали его в народе по-разному: страдник, липец, червень, грозник. Липнем — за то, что зацветала в ту пору липа, и воздух, медовой истоמוю налитой, наполнился её сладким, тягучим духом, плывущим над землёю, словно знойный, невидимый мёд. Страдником — от «страды», когда наступала жаркая, безжалостная пора полевых работ, ложащаяся на плечи тяжким бременем, выматывающая до последней жилки. Грозником — за частые грозы, что с грохотом сотрясали небеса и полыхали над землёй огненными стрелами, рассекая небо пополам. А червень — не от червей, но от червленого, алого цвета ягод, что наливались багряным соком под щедрым, палящим летним солнцем, горячим, словно печь. Отсюда же пошло и древнее слово, что ласкает слух: «червлёна губами».

Двенадцатого июля славяне вершили древний праздник — День Снопа Велеса, священный миг, когда последний, золотистый сноп урожая, налитый солнцем и земной силой, сливался с мудростью Бога Велеса. В этот день, словно трепетная нить, протянутая сквозь века, отражалась глубокая, нерушимая связь земледельческого круга с сокровенным миром предков, где каждый колос помнил прикосновение человеческих рук и шёпот молитв.

Велес в славянском пантеоне стоял особняком, словно вечерняя тень, отброшенная на границу миров — туда, где явь встречается с навью. Называли его «скотым богом» — не просто покровителем диких и домашних зверей, но их незримым щитом от мора и напастей, тёплым дыханием, согревающим стада в лютую стужу. Но глубже, в самой сердцевине имени, таилось иное: Велес — Вещий Лес, владыка земных богатств, что зреют во чреве почвы, повелитель радостей, что горят в крови, и хитросплетений магии, где нити судеб вяжутся в тугие, нерасторжимые узлы. Он — хозяин перекрёстков, где ветры дорог сшибаются, чтобы шептать друг другу древние тайны. И из тумана времён, из седой глубины доносится голос: это он, Велес, научил людей сгибать спину над сохой, чтобы из тёмной груди земли вызволить колос хлеба — дар, что стал и проклятием, и спасением, корнем, удерживающим мир на грани между голодом и изобилием.

В сей день вершилось прощание с последним вязанным снопом. Косари верили: едва травы падают под серебряный звон косы, дух поля, а с ним и сама живая сила Велеса, переселяется в этот сноп. Первому снопу, наречённому порой «пращуром», плели убор из лент и цветов — словно невесту на сговоре. Его ставили в красный угол избы — оберегом, хранящим дом до скончания жатвы. Зерно из священного снопа берегли круглый год: осенью примешивали к муке для первых караваев нового урожая, зимой отдавали скотине — ради крепости и здоровья, а весной, с последними колосками, соединяли с посевным зерном. Так замыкался круг, и нить поколений не прерывалась.

Семейный обед в сей благословенный день претворялся в священное таинство. Склоняя головы над столом, возносили хвалу Велесу — за ниспосланные богатства, за тучный урожай, что переполнит закрома до самых краёв, и горячо молили о щедрой его милости. Главным угощением была каша — щедро политая маслом, янтарным и душистым, словно сама земная жертва, возложенная на алтарь божества. В этот день творили обереги, посвящённые Велесу: они берегли скотину от лютой хвори, а человеку даровали мудрость бездонную и сокровенные таланты.

Люди тянулись к священным камням — к чудотворным исполинам, застывшим на грани двух миров, где зримое встречается с незримым. Молва шептала, что в ночь Велеса, когда тьма тяжёлым пологом ложится на землю, в этих диких глыбах пробуждается дремучая, всеисцеляющая сила — древняя, как сама земля. К их подножиям несли дары: парное молоко, дышащее теплом, янтарный мёд, густой, как солнечный свет, пахучий хлеб, ещё остывающий на ладонях, хранящих жар печи. Родовая память, живущая в крови, хранила предание о камне Алатырь — а ещё о двух: о Боге и Божихе, о Велесе и Буре-Яге.

Накануне светлого праздника хозяйки скоблили и мыли избы до белого сияния, до слепящего, почти нестерпимого блеска; яства готовили с особым, почти молитвенным тщанием, а яйца окрашивали в тёплый, солнечный жёлтый цвет — будто вбирали в себя свет грядущего дня. Была и особая, сокровенная традиция — караулить солнце. В народе верили: на рассвете оно рассыпает по земле огненные ленты, пышет живым золотом, но узреть это чудесное мгновение дано не каждому — лишь тому, у кого сердце чисто, а душа распахнута навстречу чуду.

В сумерках, когда тени деревьев вытягивались, точно когти лесного зверя, камни начинали гудеть. То был не звук в ухе, а дрожь в самой кости, отголосок тех времён, когда мир был молод и ещё не знал лжи. Люди замирали, склоняя головы, — земля говорила с ними на языке древней памяти.

И тогда с вершины старой сосны каркнул ворон, чёрный страж. Голос его падал сухо и чётко, словно удар кремня о сталь:

— Чисто ли сердце? Прямы ли помыслы? Камень видит глубину. Лукавому — тропа в болото, жадному — в чашобу. Иди с миром, коли мир в тебе.

Когда небеса окрасились в цвет перспелой вишни, у камней разожгли костры. Огонь лизал острыми языками потемневший мох, и в его пляске чудились тени великих битв, отгремевших задолго до того, как первые люди научились помнить.

Старейшина, седой, как лунь, воздел длани к небу.

— Слава Велесу, владыке дорог и душ, пастырю всего, что движется и дышит! Слава силам камня, что держат небеса от падения! Тонка ныне грань. Взгляни сквозь неё, если дух твой крепок. Узри не будущее — но путь, что предначертан.

Велесе, велемудрый! Батюшка наш, отче пресветлый!

Услышь словеса наши, яко росу на заре; обрати Свой светлый взор, яко солнце из-за леса, на деяния наши. Зри нас, чад Твоих, — стоим пред очами Твоими, яко былинки пред силой небесной. Радения Тебе возлагаем с чистотою сердец наших во всяк день и во всяк час, яко жертву благу. Восстань Духом Своим в духе нашем, огнем незримым пронзи нас. Прими во разум Твой труды наши и будь им порукой и опорой, яко дуб корнем землю держит.

Ты, ведающий тайны волшебства и чародейства, блюдуший тропы лесные и мрак ночной, пекущийся о скотах и зверях, словно пастырь о стаде своем, прогоняющий трясовицы, изгоняющий боли и хвори, дарующий живот человеку! Прими от нас, детей Твоих, хвалу сию, как мед в златую чашу. Мы, чтущие Тебя и любящие, дарующие любовь от сердца, — если Ты любишь нас, тою же любовью возлюби и нас, чад Своих, как мать дитя свое.

Прими в длани Свое дела наши, словно зерна в житницу. Соедини их воедино, дабы мы с душою спокойною и безмятежною, как озеро в тишине, творили во благо сродников наших, детей наших и нас самих, и проводи их к свершению, как течение реки к морю. Даруй нам познать сладость жизни, Тобою дарованной и преисполненной, словно нектар в чаше. И отгони бичом Своим страхи и козни, как ветер сухие листья, ниспошли нам силу от великой силы Твоей, как искру от пламени.

Отче мой, Велес Великий, податель согласия со всеми сродниками, в мире духовном, в семье пребывающей, словно птахи в гнезде! Даруй мне спокойствие и благоденствие до самого упокоения моего под оком Твоим, как звезды во тьме, под дланью Твоею, словно младенец под рукой материнской.

Слава Велесу! Слава от века и до века!

К Велесу шли с разными нуждами: благодарить за жизнь, за щедрый урожай, за то, что земля не скупится на плоды; иные вопрошали о здравии, иные молили о счастливой доле, вверяя судьбу свою его древней, как само время, мудрости.

Один юноша, с лицом, обугленным тоской, шагнул вперёд и приложил ладонь к шершавому боку Велесова камня. Не обронил он ни слова — только стоял, дыша в такт великой тишине. А наутро проснулся с чувством, будто незримые оковы, что десятилетиями сдавливали грудь, рассыпались в прах, обратившись в лёгкий, летучий пепел.

Молодые девушки, пришедшие к Божихе, вплетали в венки васильки и колокольчики, перебирая стебли тонкими, как травинки, пальцами.

— Матушка-Божиха, пряха судеб наших, — пели они вполголоса, и голоса их струились над ночной землёй, тихие, как первый свет на воде. — Дай нам мудрости принять то, что спрядёшь. Радость ли, печаль — всё твоя воля. Направь руку, укрепи сердце.

И камень отвечал им — не звуком, а шёпотом опадающей листвы, и каждая слышала в нём своё: одна — обещание, другая — утешение, третья — тишину.

Ночь Велеса истлела вместе с последними искрами догорающих углей. Люди расходились, унося в груди частицу каменного спокойствия — тяжёлого, как вековая древность, и тихого, как материнский вздох над колыбелью.

— Идите с миром. Путь охраняем, — донеслось из тьмы, словно шёпот ветра, затерянный в ущельях, или глухой, древний гул, рождённый в недрах гранита.

— Благодарствуем, стражи. До новых встреч.

А в самой чаще леса, там, где миры сходятся в вековечном безмолвии, камни несли свой немой дозор. Алатырь — недвижимый и твёрдый, как сама вечность, — стерёг врата, не пропускающая ни свет, ни тьму. Велес — незримый, но величественный, словно дыхание самой земли, — свершал свой неустанный путь, и земля, покорная тяжёлой поступи его, вращалась под этим незыблемым, древним бременем.

С приходом христианства на Русь древний праздник слился с Петровым днём — днём святых апостолов Петра и Павла, обретая новый свет в народной душе. В памяти людской он остался временем общих трапез у костров и под открытым небом, когда хлеб из первого урожая, ещё тёплый и душистый, с молитвой и поклоном раздавали бедным — как благословение земли и небес.

Коли к двенадцатому июля кукушка всё ещё кукует в лесу, а хлеба стоят зелены, не налившись, — быть году тугому и закромам пустыми. А ежели колосья клонятся долу, налитые тяжким зерном, и в рощах кукушка умолкла — урожай поспеет богатый да скорый. Молвили старики: «Коли на Велесов день грянет гроза — хлеба добром уродятся», ибо гром — то Перун гремит, а коли шумит он во день Велеса, то щедро дарит силу урожаю.

Дни убывают, но жара, словно вспомнив о своей древней, первозданной силе, наливаясь всё гуще, тяжелее, душнее — дышит зноем в самое сердце. С Велесова дня звонко запели косы:

вышли мужики на луга, встали на росу, зачали сенокос. Летит над зорькой заветный приговор: «Коси, коса, пока роса; роса долой — а мы домой!» В ту же пору пахари добрали последнюю борозду, лаская землю под озимый сев. Из уст в уста, как священный завет, переходила мудрость: «До Велесова дня вспаши, до Перунова дня взборони, до Спаса — посеи». Всем трудам земным покровительствовал Велес, и земля, хранящая его тёплый, живой дух, отвечала человеку щедро — и хлебом, и травами, и любовью.

Липень-месяц мёдом дышит у крыльца,
В золотой косе ромашка у жнеца.
Страдник полем ходит — гнёт траву к земле,
Велес — в каждом колосе и в каждой мгле.
На двенадцатое солнце встанет над рекой —
Сноп последний примет батюшка седой.

Слава Велесу — хозяину полей,
Пастуху небесных, пастырю людей.
У дубравы древней камни говорят,
Птицы весть разносят от избы до хат.
Где рука старшого огонь благословит,
Там и род славянский корнем в землю влит.

Хлеб да каша — сила на дубовых столах,
Пращур-сноп сияет в красных уголках.
Девушки гадают: где суженый мой?
Велес тропы вяжет под сырой землёй.
Юноша с зарёю сбросил старый страх —
Словно воск растаял камень на плечах.

Гром на Велеса — к житю, к полным закромам,
Кукушка смолкла — колос в пояс нам.
Пахарь до Петрова поле обошёл,
С Велесовой правдой путь свой обрёл.
Слава тебе, Велес, в травах и воде,
В каждом человеке, в каждой борозде.

Собирает Велес дань с земли родной —
Мёд янтарный, жито, колос золотой.
В закромах зерно струится, как река,
Сыплет полночь в окна звёздные века.
По росе ступает Лада, свет храня —
От Купалы до Петрова дня.

На снопах лежат серпы в тени берёз,
Ветер в тёрне заплетает слёзы рос.

Через ниву в дом несут — не перейти,
Снопу — место возле печи на пути.
Дух предвечный в каждой горсти, в каждом зерне,
На кресте закатном — купол в вышине.

Месяц выгнул рог — к богатому столу,
Полю — низкий кивень, Велесу — хвалу.
Дождь небесный проливает добрый знак —
Уродился хлеб, не сгинул, не иссяк.
От рассвета до заката — взмах руки,
В тучных нивах не видать уже тоски.

Славим Велеса в вечерней тишине,
В конской гриве, в детском смехе, в глубине
Родников, что из-под камня бьют ключом,
Каждый колос стал отныне нам плечом.
Как старшой благословил огонь навек,
Так и вечен под луной православный человек.

Присев на корточки у семейного ложа, он нежно, трепетно, боясь вспугнуть последние ускользающие грёзы, коснулся пряди её волос и прошептал: «Доброе утро, Надежда Александровна... Родная моя... Супружница любимая... Матушка детушек славных... Моя Монголка...» Она, не открывая очей, словно купаясь в остатках уходящих сновидений, ответила шёпотом: «Доброе утро, Фёдор Викторович... Сокол мой ясный... Люба мой...»

Вот уже двадцать лет в этой славянской семье, в дружном союзе двух сердец, утреннее приветствие и взаимное почитание оставались неизменным обрядом. Риторика Фёдора Викторовича менялась из года в год, но Надежда Александровна — берегиня не только обожаемого супруга, но и их четверых детей — в своём утреннем слове не желала менять ничего. Ей было так.

— Надежда Александровна, просыпайтесь! — не унимался Фёдор Викторович.

— Ещё мгновение, мой свет, — отозвалась она томно, голосом, в котором дремала сама нега.

Ей уже сорок четыре, но годы лишь подчеркнули её стать: тонкий стан, девичья краса, плавность лебединая — всё та же, что и в юности. Лебёдушка его...

Фёдору Викторовичу недавно минул пятьдесят второй год. Серебро уже тронуло голову и его роскошную бороду, которую он поглаживал то задумчиво, то нетерпеливо, то с едва уловимой нежностью. И жена, как никто, знала все эти скрытые знаки: каждый жест — словно тайный язык, понятный лишь её сердцу.

Изменился ли он с годами? Пожалуй, чуть приземлился, прикипел к земному. Но всё так же был импульсивен, словоохотлив, решителен — каждое слово по делу, каждая мысль на

вес золота. И главное — души не чаял в семье: в жене, в детях, в своей огромной, шумной, любимой родне.

— Надь, представь, — говорил он ей в это праздничное утро, — нас тридцать один человек! Вот это да! И впервые в сей благословенный день рождения нашей доченьки любимой все мы вместе соберёмся.

Надежда Александровна, разомкнув веки, пристально взглянула на него:

— Что-то вы, Фёдор Викторович, считать разучились. Берите-ка свои счёты, что давеча в интернете отхватили, — раритет самого купца Рябушинского, Михаила Яковлевича.

Я всё дивилась, на што они вам сдались, ан глядь — как в самый раз и пришились. Тридцать один, да Игнат, брат мой, пусть сводный, а кровный сердцу, мать его Зоя Ивановна, наша бабушка Зоя.

Фёдор Викторович зря шагу не ступал — делец был знатный, предприниматель с чутьём. Стало быть, и счёты эти антикварные неспроста приобрёл: чтобы ту самую купеческую силу к себе притянуть, деньгам счёт вести, да в дело вкладывать с умом да расчётом.

Рябушинские — древнего благочестия купеческий род, воздвигший державу свою не на злате, но на краеугольном камне веры отчей и мозоли рук неустанной. Их стараниями и разумением возведены: Товарищество автомобильного завода «АМО» — колыбель грядущего ЗИЛа, Рыбинский машиностроительный завод да Механический завод в селе Филях. И самое имя Рябушинских соделалось нарицательным для дерзновенной русской предприимчивости, для того удалого купеческого «авось», что горы сворачивает.

Начало сему роду положили крестьяне-старообрядцы из глухих калужских палестин, где и поныне лес стоит стеной да вера крепче камня. Уже к половине XIX столетия Павел Михайлович Рябушинский владел ткацкими мануфактурами, и шум берд стоял над его фабриками, будто молитвенный гул. Отец его, Михаил Яковлевич (родившийся в лето 1853-е), впитал с молоком матери заповедь родовую: «Дело наше есть служение, а не корысть». Ибо Рябушинские почитали завод за храм, а станок за алтарь. Он оказался истинным зодчим заводов, свято веруя, что России суждено из сохи да лаптя перековаться в державу машин и паровых чудищ.

Первым и самым дерзновенным его замыслом стал завод «АМО» — отчаянная ставка на то, чтобы самим, своими руками, без иноземной указки, собирать сложнейшие механизмы. Сей бросок в будущее казался иным безумием, но Михаил Яковлевич говаривал: «Где страх — там и Бог, а без страха и нет подвига». Затем эстафету приняли Рыбинский машиностроительный завод, что должен был дать сердце речному флоту — могучему, чугунному, и завод в Филях, где ковалась сталь для нужд империи.

Михаил Яковлевич отошёл ко Господу в год 1911-й, в самом расцвете сил и замыслов, но детища его пережили и рухнувшую империю, и огненное лихолетье. «АМО» стал легендарным символом грядущей индустрии, Рыбинский завод разросся в моторостроительного гиганта, а Филевский завод неустанно вращал свои маховики на благо, покуда хватало пара.

Капиталы Рябушинских уподобились тем семенам, что, пав в землю, дали всходы стальные — заводы, что и поныне не остановили своего хода. И после года страшного 1917-го заводы

сии не умолкли, не заржавели в бездействии. Михаил Яковлевич Рябушинский сделал ставку на сталь, и сталь его выдержала: заводы работают и до сего дня, напоминая миру, что истинное богатство не в золоте, не в банковских билетах, а в том вещном, что остаётся после тебя на земле: в заводах, моторах и дорогах, проложенных в будущее.

Фёдор на миг отвлёкся от слов жены — до чего же она мудра! Благодаря ей, её, казалось бы, нехитрым советам, он стал тем, кем стал. Не лезет в его дела, не пилит, а одна её фраза — такая глубокая, пронзительная... Она ему и берегиня, и помощница во всём. Всё она присекла про счёты купцов Рябушинских, но делает вид, что не понимает. Лиса моя, Надежда Александровна. И в этот миг Фёдор отступил от своих дум. Надежда Александровна сжала его руку — крепко и в то же время нежно.

— Жаль, бабушка моя, Нина Пантелеевна Сварги Пречистой, — промолвила Надежда Александровна, взглянув на супруга, — преставилась год назад, не застав нашей нынешней радости. Всю тризну справили по уставу древлему, по канонам православных староверов.

На миг пригорюнилась Надежда Александровна: ведь именно бабушка, и прабабушка, и сама их семейная повесть свели её с горячо любимым Фёдором Викторовичем — мужем, которого она с каждым годом любила всё сильнее. Люба мой. Но вскоре отогнала печаль и вновь вернулась к счёту:

— Тридцать три плюс Хозяйка Тайги, матушка наша, бабушка Абийе, плюс наша собака-маламут Тундра, коей уже двенадцатый годок, старушка наша любимая, и мать-оленуха Важенка. Фёдор Викторович, нас тридцать семь! Пусть людей тридцать четыре, но Хозяйка Тайги и наши четвероногие — это полноправные члены нашей семьи.

Фёдор взглянул на мудрую свою супружницу и молвил:

— И то верно. Как же я вас всех люблю и почитаю! Каждый день благодарю Родных Богов за это счастье.

Он обнял жену — и в этом объятии всё ещё жила, дышала, трепетала память о тех жарких ночах, что не остыли, не погасли, не стёрлись меж ними. Минувшей ночью они вновь любили друг друга — так, будто время не властно над их страстью. Он поцеловал её — словно впервые, словно в последний раз, словно саму вечность.

— Пора, родная, — промолвил он.

— Пора, родной, — отозвалась она.

Сегодня, двенадцатого липня, дом наполнился особым светом — не резким, не слепящим, а тёплым, словно медовая река, струящаяся из самого сердца утра. Солнце ещё только поднималось из-за макушек вековых сосен, цепляясь лучами за их косматые лапы, и в горнице уже царило торжественное ожидание — тихое, как предвкушение чуда. День рождения старшей дочери Златогорки, которую Фёдор Викторович ласково величал оленёнком, совпадал с днём Снопа Велеса — праздником урожая, силы и мудрости предков. И в этом совпадении чудилась не праздная случайность, а древняя, почти забытая тайна, мерцающая пророческим золотом в каждом солнечном луче.

Стол в кругу семьи ещё с вечера задумали накрывать с самой зари: каравай из новой муки — румяный, словно солнце на восходе, с корочкой, что хрустит под пальцами, рассыпая жар печи; янтарный мёд в глиняной плошке — густой, тягучий, будто само время застыло в нём; травяной сбор, от которого по горнице разливался дух лугов и лесов — терпкий, вольный, перевозданный, словно ветер принёс его из самой глубины веков; и глиняная миска с зерном, перевязанная алой лентой, точно обручальным кольцом земли и неба, скрепляющим их вечный союз. В красном углу, где замер круг славянских родовых Богов, теплилась лампадка — дар Хозяйке Тайги, хранительнице домашнего очага. Огонёк её трепетал, будто живой, будто сама тайга вдохнула в него своё древнее, могучее дыхание, и пламя шептало о том, что было до нас и останется после.

Три дня назад, перед этим важным событием, впервые за всю их семейную жизнь съехались все родственники этого могучего рода. Старшая сводная сестра Фёдора Викторовича, Акси́нья Вячеславовна, их любимица тётя Саня, в которой души не чаял младший брат Фёдор Викторович. Ей уже за семьдесят, но стан её по-прежнему стройный, норов — горделивый, а сердце — бездонно доброе. С годами она не увядала, а лишь расцветала — не сгорбленной старушкой в платочке, а истинной, гордой и мудрой царицей своего огромного мира. И рядом с нею, вот уже долгие годы, душа в душу живёт её верный кузнец, Илья Иванович. Золотую свадьбу свою они отпраздновали несколько лет назад, и сама эта любовь, закалённая временем, сияет теперь тихим, прочным золотом. Акси́нья рано вышла замуж, в шестнадцать лет родила первенца Макара. Тот подарил ей четверых внуков. Жена Макара, Анастасия, женщина городская, уважала этот семейный клан кузнецов, но была непреклонна: современная жизнь бьёт ключом. Традиции рода мужа она чтит, но не следовала им — слишком иной была, человек современной формации, рождённый для иных ритмов и иной свободы. Она тоже рано родила первенца — Илью Макаровича, который вот уже десять лет живёт в тайге рядом со своим сводным дедом Фёдором Викторовичем, с женой строптивой, но им горячо любимой Степанидой. Она подарила ему двоих сыновей — Фёдора и Илью. В тот день у Фёдора и Надежды гостили и остальные сыновья Макара с Анастасией — младшие братья Ильи: Вячеслав, Николай и Ян, каждый со своей семьёй. Вячеслав приехал со Светланой и сыном Павлом, Николай — с Мариной и двумя сыновьями, Артёмом и Данилой, а Ян — с невестой Ниной: они ещё не обвенчаны, и детский смех в их доме пока не звучал.

На день рождения Златогорки пожаловал второй сын тетки Акси́нии и кузнеца Ильи — Иван. Он приехал не один: рядом была его супруга Дарья, а за ними следом — два сына, Федор да Илья.

Этот миг стал яркой страницей, вписанной золотом в летопись их рода. Иван, словно бесменный летописец семейного древа, вновь взял в руки камеру — чтобы запечатлеть историю своей крови, заговорённую на вечность. Его фильм о путешествии в тайгу прогремел оглушительным успехом, а следом родилось продолжение: спустя семь лет, когда в доме Ванцевых зазвенели детские голоса и залаляли верные четвероногие друзья. И вот минуло ещё одиннадцать лет — пишется третья часть их семейной саги. Род разросся, дети родились и повзрослели, и каждый день Иван неустанно ловил в объектив ускользающее мгновение, вплетая его в бессмертную плёнку времени.

Все эти дни они подтрунивали друг над другом с лёгкой, братской нежностью: бывало, окликнут — Фёдора ли, Илью ли, — а вместо них, запыхавшись, прибегают совсем другие, и смех, не успев погаснуть, разлетается по двору, кружась, как светляки в летних сумерках.

В их роду укоренилась эта традиция: слишком уж полюбились им имена — Илья, в честь деда, отца-основателя семейного древа, Ильи Ивановича, и Фёдора Викторовича, их дяди и прародителя по духу. Тот был для них кумиром, иконой, сотканной из света: они боготворили его за нешаблонный ум, за трепетную любовь к природе и славянским обычаям, за верность Хозяйке Тайги. Но превыше всего — за его отношение к семье, к той, что стала сердцем дома, — к обожаемой всеми Надежде Александровне, их старшей дочери Златогорки, виновнице этого торжества, из-за которой они впервые собрались за одним столом. Сыновья-близнецы — Ведагор и Александр, Александр и Ведагор, как нараспев, словно заклинание, выводил отец, Фёдор Викторович, — вот-вот отпразднуют пятнадцать лет. А с рождением младшего, Фёдора Фёдоровича, которому пошёл уже одиннадцатый год, в дом ворвался самый настоящий ураган. Этого мальчика с первых дней все величают по имени-отчеству: уродился он вылитая мать — одни глаза чего стоят, дивные, с монгольской поволокой, будто в них затаилась степная тайна, а характер — неукротимый, огненный, весь в отца, в Фёдора Викторовича. И с появлением этого вихря братья-близнецы преобразились: стали такими неразлучными, что водой не разольёшь, будто сама судьба сплела их судьбы в единый узел. Они были старшими для Фёдора Фёдоровича, за которым нужен был глаз да глаз. Александр оставался неизменным: он любил свою мать, Надежду Александровну, так глубоко, что слова бледнели и рассыпались в прах перед этой любовью. Отец, Фёдор Викторович, радовался этому бесконечно, но в глубине души у него всегда шевелилось двойственное чувство, смутное, как тень на закате. Нет, юноша не был маменькиным сынком, но Фёдор не мог найти ответа: отчего же он так сильно, так иступлённо её любил?

Бабушка Абийе, старая шаманка с глазами, хранящими глубину веков, однажды обронила вполголоса, словно тайну, доверенную ветру: «Душа отца Надежды Александровны, Александра Григорьевича, — в нём». Фёдор промолчал, только сердце дрогнуло, словно струна под невидимым смычком. Возможно. Она сказала это наедине, и мудрая старушка приложила перст к губам: «Не нужно всем знать». И Фёдор хранил молчание, точно камень, вросший в землю.

Самое удивительное в этой большой семье, в их роду, крепком, как корни векового дуба, что сцепились с самой судьбой, был нерушимый закон природы: здесь рождались лишь мальчики — богатыри, наследники силы, с душой из огня и стали. И лишь одна — Златогорка Фёдоровна — сияющее исключение, единственная девочка во многих поколениях, словно звезда, упавшая в гущу леса. Уже расцветшая неземной красотой, с характером, где пламя сплавлено с тишиной, она часто уходила в молчание, как в глубокий омут. И только Фёдор Викторович ведал, отчего дочь так тиха. Ответ, словно древнее заклинание, вырезанное на скрижалях времени, хранила и поведала ему мудрая бабушка-шаманка Абийе.

Бабушка Абийе обронила лишь одно слово — «Тураах», а затем, будто настигнув его у самого порога ускользающей мысли, добавила: «Угаданка». И тотчас перетекла на якутский — тягуче, как смола лиственницы, как шёпот вековых таёжных теней, как дыхание самой земли, скованной вечной мерзлотой. Фёдор не говорил на этом языке, но понимал его до дрожи, до ледяного озноба, ползущего под кожей. Златогорка впитала его с молоком матери, в чьих жилах билась та самая древняя кровь, хоть Надежда Александровна так и не выучила его — ей было просто некогда. Семья многодетная, дом большой, собака Тундра да оленуха — всё в образцовом порядке, выверено, как узор на зимнем торбазе, как ритм древнего напева.

Фёдор Викторович как-то поведал домашним одну историю. А началось всё с вопроса: что такое торбазá? Это мягкие сапоги из оленьих шкур, мехом наружу — истинное облачение

Севера, в котором сплелись доха, волчье пальто, горностаева шапка, беличий тулуп, заячье одеяло и, наконец, сами торбазы.

Впервые я увидел их в чуме старого ненца Харючи, и тогда мне почудилось, что время сошло с петель и побежало вспять. Старик сидел у огня, и в руках его рождалась вещь, древнее любого города. Он брал камус — шкуру с оленьей ноги, самую прочную и упругую часть, — и долго мял её в ладонях, будто вёл с ней беседу на языке, которого я никогда не слышал. Пальцы, скрюченные морозами и годами, двигались с трогательной нежностью: они не шили — они укладывали каждую шерстинку так, чтобы та глядела вниз, к земле. Потом он пояснил: если шить против шерсти, снег набьётся внутрь, и нога замёрзнет за час. Если же правильно — ни одна льдинка не проскочит. В этой стране всё решает направление ворса.

Фёдор спросил, сколько торбазов смастерил он за свою жизнь. Харюча не ответил. Он молча показал на свои руки — они походили на два старых корня, опутанных жилами. Потом указал на тундру за пологом чума, где ветер гнал позёмку, и обронил: «Каждый олень знает, сколько раз он отдал шкуру для ног человека».

В этих сапогах нет ничего лишнего. Внутри — слой пушистой замши, подошва — из лосиных лбов, самой твёрдой кожи, какую только можно сыскать. Чтобы смастерить такие, надо убить не одного зверя. Олень дарит камус, лось — подошву, собака — жилы для ниток. Даже трава, что кладут внутрь для тепла, — особая: её собирают в июле, когда она наливаясь соком, и сушат так, чтобы не утратила упругость. Всё, чем богата тундра, сходится в одной паре обуви: молодость оленя, сила сохатого, терпение пса и мудрость травы.

Помню, как я надел их впервые. Тяжело? Да. Но тяжесть эта — правильная. Она не давит, а прижимает к земле, укореняет. Идти в торбазах — что идти в собственном доме: нога чувствует каждый камешек и каждую кочку, но при этом ей тепло и сухо. Через час ходьбы я перестал ощущать обувь — она стала продолжением тела. Тогда я понял: шьёт их не человек, а сама земля. Человек лишь вслушивается в её шёпот. Эту историю рассказывал Фёдор Викторович своей семье.

В городах о торбазах забыли. Там носят уродливую резину да синтетику — она трескается на морозе, лупится, не греет. Но в тундре, в стойбищах, где олени ещё помнят запах предков, торбаза осталась. Их шьют женщины, ибо лишь женские руки способны сделать стежок, не пропускающий ветер. У каждой мастерицы — свой узор, свой тайный завет. Одна кладёт в подошву три слоя бересты — для лёгкости, чтобы нога не знала усталости. Другая вшивает медвежий коготь — для силы, чтобы дух зверя охранял шаг. Третья красит камус отваром ольхи — чтобы цвет был как у заката, когда солнце уходит спать в снега.

Но встречаются ещё в тундре истинные мастера этого дела — мужчины, чьи руки помнят вековую мудрость предков, чьи пальцы читают кожу, как слепой читает молитву в книге.

Харюча, закончив свои торбазы, протянул их мне. «Носи, — молвил он. — Ты далеко уйдёшь». Я удивился: ведь это был его последний труд, глаза уже не те, руки дрожат, словно листья на осеннем ветру. Но старик лишь усмехнулся: «У оленя четыре ноги, а у человека — две. Но если у человека есть настоящие торбазы, то шаг его станет шире, чем бег зверя». Я надел их и вышел из чума. Мороз стоял под сорок, но ногам было жарко — так жарко, будто внутри каждого стежка горел маленький костёр. Я шёл по насту, и снег скрипел так ровно, так ладно, будто я ступал по клавишам огромного пианино, и вся тундра играла мне свою

древнюю песню. Ветер бил в лицо, но спине было тепло — словно сама земля обняла меня, словно предки дышали в затылок, подталкивая вперёд.

Теперь, бывая в городе и видя людей, кутающихся в пуховики и топающих ногами в нелепых ботинках, мне хочется сказать им: вы не ведаете, что такое тепло. Тепло — это не сто слоёв синтепона. Тепло — это когда шкура оленя, убитого прошлой зимой, всё ещё помнит Солнце, помнит, как оно гладило его спину, когда он бежал по ягелю. Тепло — это когда нога дышит, но не потеет, когда кожа чувствует землю, но не мерзнет. Тепло — это когда ты идёшь по морозу и чувствуешь, что ты здесь свой, что земля не прогоняет тебя, а принимает, как мать принимает усталого сына.

Последний раз я видел Харючу прошлой осенью. Он сидел на берегу реки и гладил камус, содранный с молодого пеструна. Пальцы его были почти неподвижны — скрюченные, узловатые корни, — но он всё равно пытался шить. Я хотел помочь, но он отмахнулся. «Не надо, — промолвил он, и голос его был тих, как шёпот снега. — Пока я шью торбаза, я живу. Когда перестану — значит, нога моя ступила на последнюю дорогу, и Млечный Путь примет меня». Он засмеялся, и я увидел, что зубов у него почти не осталось — один чёрный провал, как вход в пещеру. Он был похож на старого усталого бога, который всё ещё держит мир на своих плечах, не смея разогнуть спину, потому что знает: стоит ему отпустить — и всё рухнет.

Наверное, торбаза — это и есть подлинная философия Севера. Не та, что выведена чернилами на мёртвой бумаге, а та, что вплетена в каждую шкурку, в каждый рубец, оставленный руками мастера. Здесь всё просто и первозданно, как дыхание тундры: если вещь сделана с правдой — она служит тебе, пока живёшь. Если с душой — она согревает не только тело, но и кости, когда самый лютый холод пытается добраться до сердца. Если с любовью — она вырастает в тебя, становится твоей второй кожей, твоей памятью. Вот и вся мудрость. Никаких лишних слов, никаких книжных истин. Только шкура, что помнит запах оленя, жилы, сплетённые ветром, трава, высушенная солнцем, и руки, которые до сих пор хранят тепло родной земли.

Надежда Александровна, да и Златогорка, если уж быть до конца честной, не пришли в восторг от этого рассказа. Обе они боготворили животных — в их доме маламута Тундру и оленуху Важенку любили до самозабвения, до последней капли душевной нежности, до тихой дрожи в сердце. Когда Тундра, лохматая и седая, точно древняя арктическая волчица, уронившая гриву прожитых лет, клала тяжёлую, доверчивую голову на колени Златогорке, девочка светила изнутри, словно в ней зажигали тёплый, негасимый светильник, пламя которого не мог погасить никакой ветер. Важенка, царственная и невозмутимая, словно изваяние северного покоя, подходила к крыльцу за яблоками — и в такие мгновения казалось, что само время, сбившее с толку этой огромной, доброй душой, замедляло свой бег, останавливаясь, чтобы погладить её по шершавому носу. И вот после ужина, когда Фёдор Викторович допивал вкусный чай, собственноручно им заготовленный, и начал свой рассказ о том, как в студёную, завывающую зиму обезумевший от голода охотник завалил сохатого, чтобы не умереть самому, — Надежда Александровна ощутила, как внутри неё всё сжалось в тугую, болезненный узел, и в горле застрял горький, невыплаканный ком.

— Мы лучше по-современному, — обронила она, и в голосе её всколыхнулась глухая, непростая борьба противоречивых чувств. Она поправила шаль на плечах, словно отгораживаясь не столько от мороза, сколько от холода, что дохнул от мужниных слов. — Здесь, в Тайге, нужно одеваться тепло: настоящие меха и кожа, — раздражённо бросил супруг.

Фраза повисла в воздухе — тяжёлая, скользкая, словно жир на остывающей похлёбке. Она и сама не ведала, что хочет сказать: то ли оправдать шубу, что берегла лишь для больших праздников, то ли уберечь дочь от той горькой правды, что таилась в мудрых, как осенняя тьма, рассказах их отца и мужа. Фёдор умолк, и в наступившей тишине стало слышно, как за окном глухо ухает филин, а где-то в далёком, тёплом городе люди и не подозревают, что значит смотреть в глаза зверю, которого ты же и добыл своими руками.

Как-то раз, когда они остались вдвоём на кухне при тусклом, трепетном свете одинокого ночника, она тихо, словно боясь вспугнуть ночную тишину, промолвила супругу:

— Фёдор, ты человек мудрый, не стоит при Златогорке рассказывать такие были и предания. Душа её — нежный росток, её надобно поливать добром, а не омыwać кровью. Пусть она видит, что звери — друзья, а не добыча.

Он нахмурился, провёл ладонью по бороде, будто сдирая с неё липкую, вьевшуюся усталость, и ответил:

— Надя, такова жизнь. Не просто суровая северная жизнь, а выживание. Звери кормят человека в тайге и тундре — так повелось испокон веков. Да и шубу, матушка Надежда Александровна, что я подарил, вы не носите. Всё отнекиваетесь, словно лиса хвостом след замечает, дескать, шуба для торжественных случаев. А я не для того её покупал, чтобы она в сундуке пылилась да молюсь билась. Я хотел, чтоб ты в ней по улице прошла, чтоб люди видели: жена моя — царица.

Надежда Александровна опустила глаза. Шуба и правда висела в шкафу — нетронутая, если не считать трёх раз: когда выходила к таёжной реке говорить с мужем, сразу после рождения младшего сына; на Новый год; и в день рождения Фёдора Фёдоровича.

— Фёдор, — шепнула она в бессонной ночи, — ты не понимаешь. Она видит в Важенке мать, а в Тундре — сестру. Если я надену шубу, сшитую из тех, кого нужно было убить, она перестанет мне верить.

Муж тяжело вздохнул, подошёл, положил руки ей на плечи. Пальцы — грубые, с вьевшейся в кожу смолой и солью, но прикосновение — бережное, почти нежное.

— Златогорка — дочь севера. Вырастет — поймёт: тайга не зоопарк. Тундру мы взяли щенком, Важенку спасли от гибели. Но в лесу закон иной: кто не охотится — тот не ест. И если я говорю ей об охоте, я учу не жестокости, а честности. Я не твержу: «Убей ради забавы». Я говорю: «Поблагодари зверя за то, что он отдал тебе жизнь».

Она молчала, глядя в окно. За снежной пеленой угадывались тени деревьев — сгорбленные великаны, застывшие в вечном дозоре.

— Надежда Александровна, я поговорю с нашей доченькой, и она поймёт. А наши члены семьи — Тундра и Мать-Важенка — они больше, чем просто животные. Они — души. Но и тот лось, что кормил твоего покойного отца всю голодную зиму, тоже был душой. Мы не вправе выбирать между любовью к домашним и правдой о диких.

Он обнял её крепче, и Надежда Александровна почувствовала, как напряжение уходит из спины, стекает по плечам тёплой, живой волной. Она закрыла глаза и представила: Златогорка стоит на крыльце, гладит Тундру по лобастой голове, а Важенка тычется влажным, доверчивым носом ей в ладонь. В этом не было лжи. И, может статься, в рассказах отца тоже не было лжи. Было лишь то, что называлось жизнью в краю, где зима длится девять месяцев, а тепло — лишь короткое мгновение, которое надо успеть сберечь, как уголёк в озябших ладонях.

— Хорошо, Фёдор, — проговорила она тихо, едва слышно. — Рассказывай, как считаешь нужным. Только не при ней — о том, как убивают. Пусть слышит про благодарность. Про то, что зверь сам выбирает, кому отдать свою шкуру.

Фёдор поцеловал её в висок, касаясь губами, словно молитвой.

— Обещаю, Надя. Завтра утром поедem в город, я куплю ей книжку про северные народы. Там это не скрывают, но и не выставляют напоказ. А шубу... шубу носи, когда мороз за сорок. Чего ей висеть в темноте? Пусть греет тебя, как моя любовь.

Надежда Александровна улыбнулась — впервые за весь вечер. Улыбнулась так, будто внутри у неё оттаяла крохотная льдинка.

— Хорошо, — повторила она, и голос её прозвучал мягко, словно первый оттепельный ветер, что трогает набухшие почки, ещё не верящие в весну. — Завтра же надену.

Вернёмся же к рассказу о том, кто в их большой семье ещё хранил живое дыхание якутского языка.

Игнат, сводный брат супруги, владел этим языком так же свободно, как бабушка и прабабушка Надежды, — словно корнями врастая в ту самую вечную мерзлоту, что хранит, не отпуская, голоса предков, шепчущие из-под толщи ледяного забвения.

Фёдор уловил: «Любимая доченька, Угаданка». Но вопрос оставался открытым — чёрной полыньёй среди ясного дня, ледяной промоиной в солнечном безмолвии. Она была ещё мала, он помнил это: когда ей стукнуло года три, она смотрела на мир ещё незамутнённым, прозрачным взглядом, словно сквозь утренний лёд. А может, и не обратят на неё внимания духи — скользнут мимо, как ветер сквозь таёжные листья, и не идти ей по этому шаманскому пути, что выжженной тропой вьётся сквозь поколения, обжигая ступни избранных. В нём самом боролись противоречия с такой силой, что воздух вокруг, казалось, звенел, как тетива перед выстрелом. Для дочери он желал иной, лучшей женской доли — светлой, простой, без бремени видений, без этой древней тоски, что переходит из крови в кровь. Но здесь — природа, неумолимая, как дыхание тайги, как голос матери-земли, что не спрашивает согласия у своих детей. И он, если честно, гнал эти мысли от себя, но они возвращались, роясь под черепом холодными искрами костра, рассыпаясь и загораясь вновь. Чуть позже в повествовании я поясню, что к чему.

Мысли главы семейства струились глубоко, точно воды древней реки, — он любил воспоминания, упивался каждым мгновением, прожитым с ними. Но пора возвращаться: наконец-то — к встрече нового дня, к тому светлому торжеству, что зовётся днём рождения Златогорки.

Фёдор Викторович ступил на крыльцо, и тяжёлая дубовая дверь затворилась за ним с глухим стуком — словно сама усадьба испустила вздох, отпуская хозяина навстречу ещё сонной, но уже золотящейся заре. Роса лежала на траве россыпью жемчугов, и каждый шаг оставлял в ней тёмный, тающий след. Супруга его, Надежда Александровна, вышла следом, оправив на плечах шаль, расшитую алыми нитями, — древний оберег от лихого глаза. Платье на ней струилось, будто сотканное из утренней росы и лунного света; годы не властны над её статью — она плыла лебедушкой: гордо, плавно, невесомо. Фёдор взял её за руку, и они ступили на росистую траву. В руках она держала небольшой ковш с ледяной колодезной водой и горсть зерна. Таков обычай: кто первым выйдет на утренней заре, тот и встречает новый день с чистым сердцем и дарами.

— Сами, — улыбнулась Надежда Александровна, и в голосе её задрожала нотка — лёгкая, но твёрдая, точно стальная струна. — Вы же нам эту истину, Фёдор Викторович, из года в год вдалбливали, в самую душу вколачивали. Стало быть, сами. Дети-то уж взрослые.

Ведагор и Александр — два брата-близнеца, которым вот-вот стукнет пятнадцать. Высокие, статные, чернобровые, с тонким, словно выточенным резцом, аристократическим профилем. «Такие экспонаты, — подтрунивал над ними отец, Фёдор Викторович, — вас только на подиум, в большие города». Словно прибыли из самой столицы, а не из глухого таёжного посёлка, где тайга стеной стоит да звёзды падают в студёную воду. «Порода! — вторил он же, но уже с гордостью. — Все в тётку Аксиною, и Александр, и Ведагор». Оба одеты по последней моде: широкие брюки, струящиеся мягкой волной, стильные футболки, облегающие плечи, и кожаные сандалии, что тихо поскрипывают на ссохшейся земле. Ждали родителей — стояли смирно, по-мальчишески пряча руки в карманы, но в глазах уже играл живой, непокорный огонь, готовый разгореться в пламя.

Все таёжные девушки потеряли голову от братьев-близнецов Ванцевых — статных красавцев, чьи лица будто сам леший вырезал из кедра точёным ножом. Они блистали в соцсетях яркой жизнью, и подписчиц у них было — пруд пруди, как говаривал их батюшка Фёдор Викторович. «Русалки с губами, штампованными через ксерокс», — вздыхал он, глядя на экран. «Надо увозить их отсюда», — твердил отец всё чаще, словно заговаривал беду. Он бежал от цивилизации в глухомань, но, увы, цивилизация сама настигла их, как тайга настигает брошенный костёр.

Фёдор Фёдорович, младший их сын, вышел иным. Коренастый, ширококостный — дедовы корни, уходящие в Александрову породу, сидели в нём глубоко и прочно, переплетаясь с ветвью жены, что шла от коренных обитателей тайги. Словно сама Хозяйка Тайги отметила его своим внуком. Глаза — раскосые, тёмные, с монгольской лукавой хитринкой; всем обликом да душой — в мать, а поведением и норовом — в отца, Фёдора Викторовича. Отец говаривал с гордостью: «Из него выйдет мужик кряжистый, настоящий хозяин леса». Сам же Фёдор Викторович всегда мечтал походить на местных, да вот беда — «внешность обманчива», — посмеивалась его любимая супружница.

Он называл себя кряжистым мужчиной. Но однажды Надежда Александровна возразила: «Кряжистый — это толстый да крепкий. О дереве, бревне, пне или о том, что на кряж похоже. Скажем, кряжистый дуб, кряжистый пень, кряжистые берёзы. А вы у меня, Фёдор Викторович, — стройный, подтянутый и до чего ж красивый». — «Вот те раз! — изумился супруг, теребя бороду. — Никогда не задумывался о значении слова. Красивый, говорите?» Он взглянул на неё с такой нежностью, что ночь, наступившая следом, стала столь прекрасной и страстной,

что ни одному писателю в мире не описать их любви и нежности. Да и не стоит: это дело двоих — и только двоих.

И снова отступили. Но должно поведать миру, каким явился на свет их младший сын — Фёдор Фёдорович. Долгожданное дитя, рождённое от любви всепоглощающей, не знающей берегов, — а ведь именно из такого пламени куются натуры непростые, глубокие, заглянувшие в самую бездну.

Малой был неуправляем — сметал всё на своём пути, словно яростный буран в степи. Едва осилив первые шаги, он перевернул дом вверх дном: шкафы и полки летели в тартарары, будто щепки под ураганом. А через три года — глядь: уже на дерево взлетел, а оттуда — бултых в студёную речку. Бабушка Абийе, глядя на него, лишь всплескивала руками и голосила по-якутски, радовалась такому чуду природы. Она сама принимала его, когда Надежда рожала: до чего же ей нравился этот младший внучок!

И шептала по-доброму, по-якутски.

— Уол оџом, ыраах көтөр, улуу түүлээх! Хотой оџото — тыа хаһаайына, уу уола — үрэх тохтообот! Кини үүнэр — от охсуллубат, кини үүнэр — тиит тэбилэммэт! Айылҕа кинини баҕа санаатынан ууга ыппыт, тыал түүлээх — үрдүккэ тахсыах! Бүтэйдэ — оџо улаатан айылҕаны кытта күүстээх буолуо!

— Что означало: «Сын-сокол, за облаками летящий, — великая судьба! Орлиное чадо — хозяин тайги, водам рождённый — река не ведает покоя! Он растёт — трава под ним не клонится, он мужает — лиственница не дрожит. Природа отпустила его на волю свою: ветром взвила, чтобы к высоте рванулся! Всё сбудется: возмужает мальчик — с природою силой породнится!»

Младший сын, Фёдор Фёдорович, говорил по-якутски с такой беглостью, певучестью и лёгкостью, будто сам язык родился вместе с ним — впитал он его не из учебников, а с дыханием таёжного ветра и с хрустальной слезой снега. Однажды мальчику довелось провести несколько месяцев в самой сердцевине тундры. К бабушке Абийе нагрянула дальняя родня, позвав и её на край света — туда, где земля целует небо. Родители снарядили эту поездку, и в ней Фёдор стал незаменимым: и переводчик, и проводник, и душа всего пути.

Идейным вдохновителем этого путешествия в тундру был именно он — Фёдор Фёдорович. «Наш проводник», — с гордой нежностью величал его отец, и в этих словах звенела любовь, не знающая границ. Он боготворил сына, хотя тот частенько дерзил — бывало. Но стоило мальцу взглянуть на отца своими тёмными, в мать, монгольскими глазами, и тут же, словно повинившись всем сердцем, выдавал одну и ту же фразу: «Тятя, прости дурака. Отработаю — подсоблю всё, что надо». И сердце отца таяло, как первый снег под солнцем.

Фёдор-старший часто размышлял: как его покойная тёща, мать жены — хрупкая городская девушка, нежная, словно полевой цветок на ветру, судя по той старой фотографии (та же нежность перешла к его любимой Надежде), — могла обратить свой взор на Александра, его тестя? И теперь, глядя на младшего, он вдруг прозревал: вот он, ответ. Харизма, открытость, дар располагать к себе людей — младший сын весь в деда. Фёдора Фёдоровича обожали все вокруг; он умел найти ниточку понимания с каждым — будь то седой старик, помнящий древние кочевья, или резвая девчонка, смеющаяся солнцу.

Сборы в тундру были недолгими, но основательными — такими, какими им и надлежит быть перед дорогой в края, где начисто забываешь о существовании магазинов. Абийе, бабушка, с тихой, сосредоточенной серьёзностью перебирала припасы: сушёную рыбу, бережно завернутую в бересту; бруснику и морошку, укрытые в берестяных туесах; крепкий чай и плитки чёрного шоколада — «чтобы кровь гуляла». Фёдор Фёдорович, её проводник, в свои десять лет уже тяжело ощущал груз ответственности. Он собственноручно проверял спальные меха, собачью упряжь, брошенную ожидать их на севере, и свой охотничий нож в простых деревянных ножнах — подарок бабушки Зои.

День вылета выдался хрустально-ясным: небо — бездонной синевой, вылинявшей у самого горизонта до бледного молока. На вертолётной площадке стоял терпкий запах солёнки и холодного металла. «Ми-8» уже ждал их, тяжело вздрагивая нарастающим гулом двигателей; его лопасти, ещё вроде бы ленивые, но ретивые, со свистом рассекали воздух, рождая шквалистый ветер, способный сбить с ног. Фёдор-старший помогал бабушке Абийе и сыну взобраться в салон, крепко удерживая дверь, откуда уже тянуло не привычным запахом таёжного посёлка, а дыханием далёкой, обещанной вольницы.

И вот они взмыли ввысь. Сначала под крылом проплыли знакомые посёлки и деревни — рассыпанный детский конструктор, брошенный на зелёный бархат; потом пёстрое лоскутное одеяло дачных участков, сшитое из солнца и теней. И наконец земля пошла волнами: сперва густыми, лесистыми гребнями, что вздымались, словно спина спящего великана, затем всё более скудными, пока лес не превратился в тонкую бахрому по берегам бесчисленных рек, извивающихся внизу серебряными нитями, брошенными в спешке. Фёдор Фёдорович прильнул к иллюминатору. Его тёмные глаза, с монгольским разрезом, впитывали необъятную зелень тайги, что сменялась жёлто-коричневым простором тундры, усеянным бирюзовыми пятнами озёр — будто кто-то рассыпал драгоценные камни по выжженной коже земли. Он не произносил ни слова, но по замершей позе, по едва тронувшей губы лёгкой улыбке отец понимал: мальчик — дома. Он впитывал это не через стекло, а всей кожей, каждой клеточкой, будто сам растворялся в разреженном воздухе за бортом, становясь частью этого бескрайнего простора.

В салоне стоял гулкий рёв двигателей; вибрация пронизывала всё тело, становясь его плотью и ритмом — сердце билось в такт винтам. Бабушка Абийе сидела с закрытыми глазами, лицо её было спокойно и отрешённо, точно каменная маска, за которой таилась бездна: она летела не над тундрой, а сквозь толщу воспоминаний, назад, в свою молодость, туда, где воздух был гуще и время текло иначе. Фёдор-старший смотрел на сына и думал об Александре, о тесте. Тот же неукротимый, жадный до мира взгляд, та же способность молча растворяться в пейзаже, становясь его душой. Вертолёт не летел — он плыл по безбрежному океану безвременья, и лишь изредка внизу мелькали одинокие стада оленей — чёрные бусины, рассыпанные по тусклой парче, — или дымок от становища: тонкая, живая нить, вьющаяся к холодному, равнодушному небу.

Через несколько часов полёта земля растаяла в бескрайнюю зелёно-бурую равнину, прошитую чёрными жилами рек и серебристыми нитями озёр. Лётчик обернулся, крикнул что-то неразборчивое и резко ткнул пальцем вперёд. И там, на самом краю этого живого полотна, проступили точки: тёмные пятна чумов и крошечные, будто вылепленные из глины, фигурки людей. Сердце Фёдора Фёдоровича сжалось коротким, сильным ударом. Он повернулся к отцу

— в его взгляде уже не было детской восторженности, лишь сосредоточенная, твёрдая готовность взрослого человека: «Мы прилетели. Тятя, я дома, у себя в тундре».

Вертолёт пошёл на снижение, и тундра вдруг вздыбилась, взметнувшись яростной метелью из собственной пыли, сухой земли и примятой травы, взбитой винтом. Они приземлились. Дверь распахнулась — и внутрь хлынул поток воздуха: острого, колючего, пахнущего пылью, бескрайним ветром, сырой влагой болот и едким, до боли родным дымом очага.

Фёдор Викторович вернулся домой на вертолёте. А бабушка Абийе наконец обняла тех, кого не видела долгие годы. Мальчик весь сиял от счастья и предвкушения летних каникул в тундре. Через два месяца, к началу учебного года, он вернулся домой — неузнаваемо повзрослевший, довольный, светящийся изнутри, будто в нём зажгли маленькое, негасимое северное солнце.

Фёдор Викторович одним взглядом пресёк это северное сияние — вспышку восторга, что уже начинала разливаться по комнате:

— Надежда Александровна, напомните-ка мне: в какой класс идёт наш Фёдор Фёдорович?

— В третий. А в чём, собственно, дело? — мать насторожилась, как птица, почуявшая первый холодок ветра.

— Надь, послушай меня внимательно: он влюбился, — выдохнул отец, и слово упало в тишину, как камень в стоячую воду.

Он и вправду изменился. Энергия не убавилась после тундры — нет, она стала другой: глубже, тише, с отблеском тайны, словно кто-то зажёл в глубине его души свечу. Надежда улыбнулась:

— Я заметила. Бабушка Абийе проговорила за чаем. «Чай твой, Люба мой, — сказала она мужу, — выводит на откровенные разговоры. Что ты туда добавляешь?» — Фёдор усмехнулся. — Надь, не отвлекайся. Говори же! — не унимался отец.

— Девочка в тундре. Одного возраста с нашим сыном. Зовут её Кюнней — «солнечная», «обращённая к солнцу». Я видела фото в его телефоне: каждый вечер переписывается с ней, смеётся, и в голосе — звон весенней капли, чистой и торопливой.

— Вот те раз, — протянул Фёдор Викторович, и в голосе его дрогнула растерянность. — Не рановато?

— Самый раз, — ответила мать и улыбнулась, словно знала что-то, что не нужно объяснять словами, словно держала в улыбке целую вселенную, которую время ещё не открыло.

Каждый из четверых детей Фёдора и Надежды был особенным — разными были их характеры, само мироощущение, и родители не жалели сил, вкладывая в воспитание и учение всё, что могли. Подумать только: одни родители, одна кровь, а дети — все такие разные. Даже близнецы-сыновья, внешне похожие друг на друга, расходились в душевном складе. Но все четверо любили и глубоко почитали отца с матерью. А Надежда Александровна, глядя на этот дом,

полный любви, уважения и нежности к мужу и детям, понимала: её детская мечта сбылась — мечта о доме, где чаша полна до краёв.

Близнецы помогали родителям управляться с этим неугомонным братишкой. И Фёдор Викторович говаривал: «Всё во благо. Он внёс между ними лад и крепкое братство».

После рождения Фёдора Фёдоровича разговоры о других детях угасли сами собой, словно их и не бывало — испарились, как утренний туман под первым лучом солнца. Надежда Александровна, с загадочной улыбкой на устах, лукаво спрашивала: «А как же твои мечты, тятя, о целой дюжине сорванцов?» И неизменно слышала в ответ с хрипловатой нежностью: «Нет, Надь. Он один этой чёртовой дюжины стоит». — «Порода!» — вторила она, и в этом слове звучала материнская гордость, когда она окидывала взглядом младшего, словно любовалась невиданным сокровищем, четвёртым и бесценным.

В то утро, когда солнце лишь начинало золотить вершины кедров — словно осторожный художник, пробующий краски на рассветном холсте, — на утреннем приветствии не хватило одной души. Той самой, что обычно вносила в дом свет, будто первые лучи, ещё не коснувшись земли. Старшая дочь Фёдора Викторовича и Надежды Александровны, красавица Златогорка, их любимый оленёнок, не явилась на встречу солнца. Мать ещё с вечера предупредила, что её не будет, и голос её звучал тихо, словно шёпот молодой берёзки под утренним ветром. Фёдор Викторович улыбнулся в бороду — улыбнулся той мудрой, тёплой улыбкой, что живёт лишь в отцовских глазах. «Пусть, — сказал он твёрдо, но мягко, будто гладил ладонью воздух, — может, сюрприз нам готовит наша девонька». И в этих словах, как в утренней росе, отразилась вся его отцовская нежность.

Как же он её любил! Эта любовь не знала ни меры, ни берегов — не просто отцовская, а всепоглощающая, словно таёжный пожар, и в то же время тихая, верная, как свет в ночном окне. Стоило ей лишь появиться на пороге — тем самым фирменным шагом, лёгким, но незыблемым, — и выдохнуть: «Доброе утро, тятя!», а после поцеловать отца в щёку, оставив на ней едва уловимый след сибирских трав, морозной свежести и чего-то родного, неуловимого, как запах детства, — как весь мир уплывал из-под ног Фёдора Викторовича. Планы, звонки, дела на фабрике и в туристическом лагере — всё исчезало, таяло, обращалось в пыль. Она была его солнечным зайчиком, его единственной девочкой в суровом мужском роду, где испокон веку рождались только сыновья — один за другим, как кедровые шишки на склоне, плотные, могучие, не знающие иного закона, кроме земли и неба.

А какой красавицей она становилась с каждым годом! То было уже не обещание юности, а сама расцветшая сила — полная, щедрая, не ведающая удержу. Внешне она пошла в отца: те же точёные черты, та же гордая стать, и только глаза — изумрудные, глубокие, как лесное озеро в тишине — выдавали её тайну. То был дар самой Хозяйки Тайги — монгольский след далёкой прародительницы, кочевницы из степей, — так, с улыбкой, говорили в семье. Кожа её отливала белым фарфором, нежным и гладким, словно суровый сибирский ветер никогда не смел коснуться её. Волосы — густые, тёмные, чуть ниже плеч — струились живой волной, когда она шла. Косы ей остригли в четырнадцать лет, хоть отец и был решительно против: он помнил, как они вились до самого пояса, как переливались на солнце тяжёлым шёлком. Но на семейном совете решили — девочка сама хозяйка своей судьбы. И позволили. Она была стройна, как молодая сосна, и в то же время в ней угадывалась мягкая, трепетная женственность, что роднила её с Надеждой Александровной. Её называли чёрной жемчужиной семьи — единственной среди братьев, драгоценностью, которую берегли пуще золота.

Одевалась Златогорка по-современному, но не слепо гналась за модой — она лепила свой стиль, как скульптор, не оглядываясь на тренды. Джинсы, чаще всего синие, облегли её стройные ноги, топ был простым, но с изюминкой, а поверх — бомбер с затейливой вышивкой или лёгкая курточка с пушистым меховым воротником, что придавал ей вид дерзкой и уютной одновременно. Одежды у неё было вдоволь: отец баловал свою малышку, хоть порой и кричал, когда она крутилась перед зеркалом в чём-то чересчур смелом. «Эх, дочка, — вздыхал он, качая головой, — ну куда тебе эти... прорехи на локтях?» А она только смеялась, звонко, как ручей, целовала его в щёку — и он сдавался, таял под её задорным взглядом. На неё заглядывались все: и местные парни, что росли с ней за околицей, и туристы — из дальних стран и нашей необъятной родины. Приезжие, особенно молодые, теряли голову, завидев её на взлётной полосе или у причала, где ветер играл её волосами. Но девушка была скромна: улыбалась приветливо, однако в пустые диалоги не вступала. Её мир был полнее, глубже — он состоял из семьи, книг, тайги и настоящего дела.

Фёдор Викторович часто брал детей с собой в дела — не столько ради помощи, сколько ради науки. Это была не просто семейная традиция, а сама школа жизни: пусть сызмальства привыкают, впитывают туристическое ремесло отца, постигают, как дышит мебельная фабрика, кормившая половину посёлка. Все они с ранних лет уверенно вели машины — и легковушки, и грузовики, даже могучие «Уралы», что таскали лес и оборудование по ухабистым трактам. Парни — два близнеца и младший Фёдор Фёдорович — сплавлялись по горным рекам, знали каждый порог, каждый каприз течения. Но едва в вертолёте появлялась Златогорка, весь деловой строй терял голову. Туристы, завидя её, устраивали настоящие феерии: просили встать у лопастей винта, на фоне бескрайней тайги, у самого края обрыва, где ветер играет с краем одежды. Она не отказывала — но делала это с тихим достоинством, улыбалась ровно настолько, чтобы не показаться гордой, и уходила, оставляя после себя лишь запах кедровой смолы да смутное, щемящее воспоминание.

Когда родился Фёдор Фёдорович, её младший братишка — поздний, шумный и непослушный, — она матери помогала всецело. Норов её утих, словно в этой заботе она обрела новую опору. Школу окончила с отличием — знания давались ей легко, словно вода струилась в ручье. Близнецы тоже учились на четвёрки и пятёрки, шли следом за сестрой, стараясь не отставать. А вот Фёдор Фёдорович был твёрдым троечником — зато с добрым сердцем и хитрецей. Он мог обвести вокруг пальца кого угодно, но лишь затем, чтобы принести маме конфеты или вытащить щенка из ручья.

Такова была их семья — крепкая, как лиственница, и тёплая, как печь в зимнюю стужу. И это утро, начавшееся без Златогорки, таило в себе тихое ожидание: что же она придумала на этот раз?

В утреннем приветствии сошлись многие из тех, кто приехал погостить к родне, и все они, затаив дыхание, не могли оторвать глаз от этой картины. Илья, внук, стоявший плечом к плечу со своим дедом Фёдором, давно уже стал завсегдатаем этих утренних встреч. С того самого мига, как он впервые ступил на эту таёжную землю — ещё до рождения собственного дяди, Фёдора Фёдоровича, — он остался здесь навсегда и не помышлял о возвращении. И ведь диво: дядя оказался младше племянника на двадцать восемь лет. Бывают же в жизни такие причудливые узлы, такие невероятные сплетения судеб. У самого Ильи всё пошло в гору: повстречал Степаниду, обвенчались на Красную Горку. Родили сыновей — Фёдора и Илью. Встал на ноги крепко, корнями врос в эту землю. В город, в Омск, к деду с бабушкой, к роди-

телям, к дяде и братьям, его уже не тянуло — он здесь, в тайге, пустил корни, и они держали его цепко, словно кедры держат берега горной реки.

Все выстроились в ряд, лицом к восходящему солнцу.

Фёдор Викторович возвёл очи горé. Солнце ещё не явило лика своего из-за кромы лесной, но небо на востоке уже наливалось ало — кровию небесною, яко говаривали старцы. Расправил он плечи, вдохнул полной грудью сырости утренней и возгласил негромко, но с силою, идущей от самой земли, от её дремучего корня:

— Слава тебе, Свароже-батюшка, даровавший нам свет утренний. Слава тебе, Дажьбоже, иже вновь прогоняеши тьму. Слава тебе, Мати Сыра-Земля, яко держиши нас на длани своей.

Обратились они в приветствии своём и к Хозяйке Тайги — незримой сущности, любившей их и оберегавшей. Но в сей день славили они ещё и батюшку Велеса. Ибо Велес — не просто скотий бог, яко пишут в книгах мужи учёные. Велес — то сила, что водит корни древесные в глубине, что шепчет в ручьях таёжных, что ведёт зверя по тропе. Он — покровитель тех, кто ищет ведения за гранью видимого, кто умеет слышать шёпот трав и гласы предков в завывании ветра.

Умолкнул Фёдор Викторович на миг, чуя, как от самых пяток восходит к макушке тепло — словно кто-то невидимый возложил руку ему на темя. Ведал он: то пришёл Велес. Не во образе мохнатого исполина с рогами, яко изображают на лубках, но как тихое, всеведущее присутствие, разлитое в каждом листе, в каждом камне. Лес замер вместе с ним — даже птицы притихли, и только где-то далече, за тремя холмами, глухо ухнул филин.

— Батюшка Велесе, — рек он уже громогласно, дабы голос летел над поляною и терялся в чащобе, — ты, иже вяжеш миры нитями радужными и ведёши души предков по тропе Млечной. Ты, иже дал еси человеку первый плуг и научил еси его разумети язык скотины. Ты, иже отверзаеши врата меж явью и навью, егда ночь становится тонкой, аки береста. Приими хвалу нашу. Благослови пути наши, да не собьёмся мы с тропы в чащобах жизни. Дажь силу рукам — поднимати тяготы, даждь мудрость сердцу — не осуждати ближнего, даждь терпение — ждати, егда придёт час.

Стоявший рядом спутник молодой, Илья, внучатый племянник Фёдора Викторовича, переступил с ноги на ногу. Мнилось ему, что речи Фёдора Викторовича чересчур просты, что здесь, среди вековых кедров и мшистых валунов, гоже было бы глаголати иначе — велеречиво, складом древним, яко в былинах. Но старый ловчий словно прочёл мысли его. Оборотился он к Илье, и в очах его блеснула усмешка.

— Мнишь ты, Велесу надобны слова красные? — спросил он негромко. — Он сам — Слово. Вся тайга — то книга его. Всяк след звериный — буква, всякий ручей — строка. А мы с тобою — лишь читаем, и то по складам. Егда глаголеши с вечностью, не тебе пышных фраз. Глаголи правду. Токмо правду он и слышит.

Вдумался Илья. Воспомнилось ему, как прошлой осенью заблудился он и три дня блуждал, покуда не вышел к сторожке. Тогда он тоже молился — не словесами, но воплем отчаяния, и лес ответил. Вывел. Спас. Может, и вправду — не в обрядах сила, а во искренности.

Вновь воздел Фёдор Викторович длани к небу. Солнце уже явило край диска своего, и лучи его пронзили туман, рассыпав по поляне стрелы златые. Запел Фёдор Викторович — не гласом, а гортанью, низко, раскатисто, яко поют во тьме, егда идёшь по следу зверя. То был неведомый Илье напев: без слов, токмо дрожащие звуки, подобные то ли гудению шмеля, то ли грому дальнему. В пении том слышалась тоска древняя и таковая же древняя радость. Казалось, сами кедровые деревья начинают вторить, и ветер подхватывает мелодию, унося её далече за горизонт.

Егда последний звук истаял в вышине, настала тишина. Но тишина та была жива — она дышала. Опустил Фёдор Викторович руки и поклонился земле, коснувшись её дланями.

— Слава тебе, Велесе-отче. Слава тебе, Хозяйка Тайги. Слава тебе, Солнце светлое. Слава тебе, Жива, дающая силу всякому стеблю. Слава вам, духи лесов, рек и гор. Поминайте нас, живых, яко мы поминаем вас. Не оставьте без присмотра своего в час нужды.

Илья, взирая на родственника, вдруг почувствовал, как по хребту пробежал холодок — не от страха, но от благоговения. Он тоже преклонил колено и коснулся челом земли, орошённой росой утренней. Мох мокрый пах грибами и перегноем, но в запахе том чувствовалось нечто первозданное, чистое, яко в первый день творения.

И впервые за долгое время почувствовалось ему, что мир окрест — не просто собрание деревьев и камней, но огромный, живой организм, где всякое существо, всякая былинка связаны невидимыми нитями. И где-то в средоточии паутины той стоит он, малый человек, но не одинокий, а под покровом силы, имя которой — Велес.

— На восток поклонюся — отцу Велесу помолюся, — глас его звучал твёрдо и проникновенно. — Отче Велесе, помози, душу мою убережи, даруй чадам моим мудрости и силы. На запад поклонюся — деду Небесному слово даю, на юг — земле-матушке кланяюся, на север — водам ключевым. В сей день Снопа Твоего, Свароже внуче, благослови Златогорку, оленёнка моего, на путь добрый, на жизнь счастливую.

Он обернулся — и всем естеством, каждой жилкой, каждой каплей крови вдохнул её присутствие. Дочь. Любимая. Только что подошла, а рядом с нею — верная спутница, маламут Тундра, старушка по собачьим меркам: двенадцать годков уже отмеряла, но взгляд её всё ещё горел преданностью, словно северное сияние в глухую зимнюю ночь. И тут же, неподалёку, стояла оленуха, Мать-Важенка, что вот уже несколько лет жила на подворье родительского дома. Оленуха и Златогорка были живой легендой их родового дела. После того как Иван, племянник, выложил в сеть фильм — быль самой оленухи, — у него выросло столько подписчиков, что он и сам не чаял такой лавины откликов. Люди писали со всех концов земли русской: кто-то плакал, кто-то благодарил, кто-то вспоминал своих ушедших. А Златогорка любила свою оленуху как самое родное создание; говорила с ней на якутском, и та разумела. Так пожелала Златогорка, и отец исполнил её волю. Он помнил, как они спасли её, как впервые привели дочь к оленухе и как мать, Надежда Александровна, спасла её от неминуемой гибели.

Дочь опустила ресницы, но уголки её губ уже дрогнули в предвкушении улыбки. Фёдор Викторович приблизился, его пальцы коснулись её плеча, и он прошептал, почти беззвучно: «С днём рождения, дитя моё. Будь, как Заря-заряница, — светлая, тёплая и неподвластная тьме». Эти слова он повторял из года в год, словно древний наказ, старший его самого, старший этой земли, старший лесов, что шелестели за околлицей. Он унаследовал их от деда, которому

перевалило за девяносто. Дед, сидя однажды на крыльце, взирал на восходящее солнце и что-то шептал, вечное, как сама мерзлота. Теперь эти слова нашли приют в душе дочери, и Фёдор Викторович знал: она передаст их дальше, когда придёт время.

Затем он обернулся к супруге и протянул ей горсть зерна из чаши. Надежда Александровна приняла дар и, раскрыв ладонь, рассыпала зёрна на землю у крыльца — обряд кормления предков и умиловления Хозяйки Тайги. Зёрна падали, и земле отдавался тихий шепот. Она совершала это неспешно, с той мудрой неторопливостью, что приходит с годами. Ветер подхватил несколько крупинок, унёс их к оленухе, и та склонила голову, словно принимая благословение. Тундра, старая маламут, устроилась у ног хозяйки, положив морду на лапы, и закрыла глаза — она знала этот обряд и ждала своей доли, что непременно придёт в виде лакомства с её ладони.

Фёдор Викторович оглядел жену, дочь, сыновей, родню, оленуху, собаку Тундру и землю, жадно пьющую зерно, — и почувствовал, как время замедлило свой бег. Казалось, весь мир замер в этом мгновении: солнце стояло высоко, но не жгло, а ласкало, и тени берёз ложились на траву кружевными узорами. Где-то в глубине усадьбы запела птица, и Златогорка улыбнулась в ответ. Она подошла к оленухе, провела ладонью по её шее и что-то прошептала на якутском — те слова, что отец не знал, но понимал сердцем. Важенка вздохнула, и в этом вздохе звучала благодарность. Тундра подняла голову, вильнула хвостом; Златогорка, наклонившись, почесала её за ухом — старушка заурчала, как котёнок, и лизнула дочери руку.

Надежда Александровна подошла к мужу и взяла его под руку. Её пальцы, ещё тёплые от зерна, коснулись его запястья, и он ощутил, как по телу пробежала дрожь — не от холода, а от полноты бытия. Она ничего не сказала, но её молчание было красноречивее всех слов. Он обнял её за плечи, и они стояли так, глядя на дочь, на зверей, на землю, что всё принимает и всё возвращает. В этот миг Фёдор Викторович понял: счастье — не в шуме городов и не в блеске экранов. Оно в зерне, падающем на землю, в дыхании старой собаки, в шёпоте дочери, в тепле руки жены. Оно в том, что вечером они сядут за стол, зажгут свечи и будут говорить о простых и важных вещах, а оленуха будет стоять у окна, и тень её рогов упадёт на скатерть, напоминая, что тайга всегда рядом.

Златогорка обернулась и посмотрела на родителей и братьев. В её очах горел тот самый свет, о котором он только что думал. Она улыбнулась — открыто, доверчиво, как умеют только дети, выросшие в любви. И Фёдор Викторович знал: эта улыбка останется с ним навеки, как остаются звёзды в ночном небе, как остаётся шум реки за краем леса. Он кивнул ей, и она поняла — день рождения начинается.

В этот миг младший брат, Фёдор Фёдорович, подбежал к сестре и протянул ей букет нежных, пионовых роз. «Где он их взял?» — изумился Фёдор Викторович. «Понятия не имею», — лишь пожала плечами Надежда Александровна. Златогорка же склонилась, приняла дар и крепко обняла братишку. Мальчонка ещё пару дней назад уговорил одного вертолётчика, и тот ночью доставил ему эти редкие, цвета утренней зари, розы. Пилоты как раз отправляли туристов в ночной маршрут по тайге, а Федя сбежал из дома, переплыл на утлой лодчонке реку и получил вожаденный букет для любимой старшей сестры.

Все вернулись в дом, где на столе уже ждали дары: кутя, томлённая в печи с вечера, кувшин студёного берёзового сока и свечи, зажжённые в честь каждого члена семьи. Фёдор Викторович пригубил из глиняной чаши и передал её по кругу. «Слава Велесу, слава роду нашему,

слава земле, что кормит нас и поит. Пусть день сей будет полон, как сноп тугой, и сладок, как мёд липовый», — молвил он, и голос его звучал, как шум вековых сосен. Все повторили за ним, сложив руки на груди.

Под негромкий, словно шелест трав за окном, напев и под незримое, но осязаемое присутствие Хозяйки Тайги, обнимавшей весь дом тёплой сенью своих ветвей, семья села за утреннюю трапезу. День начинался, и каждый миг его был соткан из той самой древней, неспешной радости, что не нуждается в лишних словах, — радости совместного бытия.

А вечером всех ждал большой праздник и широкое, звонкое гулянье.

Солнце уже высоко взошло, и тени укоротились до малой пяди. Весь лес-батюшка оза-рился светом златым, словно Божиим благословением. Так они встретили рождение нового дня и новый год жизни дочери — по слову старины глубокой, по обычаю пращуров, по правде славянской исконной.

Никто не расскажет той нежности тайной,
С какой дочерей берегут их отцы.
И мне, кто выводит здесь строки печально,
Богами хранимая эта любовь —
От первого вздоха, сквозь смех колыбельный,
До горькой минуты, где смолкнул их зов, —
Была мне щитом и опорой бесценной.

Входила я в комнату — свет загорался
В глазах его, тёплых, как солнечный лес.
Он мудростью щедро со мной делился,
Дарил мне сокровища русских словес.
Всё лучшее, цепкое, что во мне бьётся —
Зелёный, отточенный, твёрдый мой взгляд,
Стать гордая, норов, что гнётся, но редко, —
Всё это любви его нежной набат.

Как трудно писать мне в прошедшей печали,
Строкой примеряя глагол «уходил»,
Но он не исчез в этой звонкой вуали —
Живёт во мне смелостью выросших крыл.
А жизнь, что казалась разумной и длинной,
Промчалась цветной, отзвенев, каруселью,
Оставив лишь эхо с любовью единой
И слово, согретое отчей свирелью.

Я помню, как осень входила в ладони,
Листвой золотою касаясь лица,
И он говорил: «Посмотри, как уходит
Всё то, что не вечно, до самого дна.

Но есть, что останется, — корень и камень,
Та песня, что мы не допели вчера,
И тихая вера, что даже за нами
Всё так же цветут молодые ветра».

А после, когда накрывали туманы
Дорогу, где след заметало слезами,
Я слышала голос его сквозь охраны
Времён, что уже не считают число.
Он шёпотом гнал от меня всю усталость,
Как плащ, что согреет, но не тяжелит,
И в каждом шаге, где сердце сбивалось,
Я знала — он рядом, хоть взгляд не блестит.

Я помню, как вечер вплетался в ресницы,
И тени ложились на старый альбом.
Он пальцем водил по истёртым страницам,
Где время застыло неровным столбом.
«Смотри, — говорил, — это ты в сентябре,
С букетом из клёнов, в смешном колпаке.
А это ты в пору, когда на заре
Держали мы счастье в одном кулаке».
И каждая фотка, как нитка, тянулась
К тому, что уже не вернуть, не догнать.
Но в горле вдруг комом тепло обернулось —
Он здесь, он остался, чтоб снова обнять.

А после зима заметала окно.
Стекло покрывалось узором из хвои.
Он кашлял, но всё же стоял заодно
Со мной в этом мире, где мы ещё двое.
«Не бойся, — шептал, — что дорога пуста,
Что ветер уносит последние письма.
Внутри тебя — крепость, что мной возведена,
И в ней не погаснут высокие смыслы.
Ты будешь идти, даже если нет сил,
Сквозь камни, сквозь грязь, сквозь людское безверье.
Я камень за камнем в тебя уложил
Любовь, что не знает границ и предверий».

И время текло, как вода сквозь песок,
Сменяя приливы на тихие мели.
Я стала взрослей, но в груди — тот же ток,
Что в детстве мне жилы от счастья звенели.
Он в каждой черте: в том, как я говорю,

Как жду, как прощаю, как верю всему,
Как ношу эту жизнь, словно светлую песню,
И как я пою на ветру одному.
Мой голос теперь — это эхо его,
Мой шаг — это мера его же терпенья.
И нет в мире слова страшной «никого»,
Когда за спиной — только тень и забвенье.

Но я не одна. Он во мне, как восход,
Что встанет, хоть ночь и глуха, и бескрайна.
Он в шуме дождя, что по крышам идёт,
В молчаньи, где каждая пауза — тайна.
Я слышу его, когда падает лист,
Когда закипает вода в чашке бледной,
Когда мир, как обычно, жесток и всё-таки чист,
Но я остаюсь для улыбки последней.
Он в строчке, что я берегу наизусть,
В реке, что течёт, не спросив разрешения.
И если есть в мире священная грусть —
То это отцовское благословенье.

И значит, не надо глаголов скорбеть,
В прошедшем искать утешенье для взгляда.
Он есть. Он со мной. Он успел рассмотреть
Во мне то, чему и награды не надо.
Я та, кем он стал, уходя в тихий свет,
Я та, кем он жил, не допев до финала.
И в сердце моём — ни «прощай», ни «привет»,
А вечная осень, что не увядала.
Она будет длиться, пока я дышу,
Пока помню шёпот: «Смотри, как уходит
Всё то, что не вечно... Но я напишу
На камне: «Отец своей дочери. Александр»».

Круглый стол

*Там, где кедры держат небосвод,
Где туман над реками плывёт,
Две души нашли один исток
И зажгли семейный огонёк.*

Ведал Сварог: крепок род человеческий не стенами дубовыми, не житницами, златом полными, а речью сердечной, что из уст в уста перетекает, как река живая — неиссякаемая, тёплая, родная. И послал Он на землю Ладу-Матушку, дабы научила она чад своих говорить о сокровенном, не пряча душу за семью печатями.

Явилась Лада в дом, где муж и жена молчали три зимы, словно два камня при дороге, обросшие мхом отчуждения. Воздела она руки белые, и полился из уст её свет:

— Что за стена меж вами выросла? Не глина то и не камень, а гордыня ваша и страх, что слово первое молвить страшнее битвы. Ибо молчание — стена, а слово — мост.

Коснулась она уст мужа — и тот вымолвил, словно из глубокого колодца:

— Больно мне, жена, что не видишь ты, как я устаю в поле. Душа моя изранена, а ты молчишь.

А жене коснулась сердца — и та ответила, уронив слезу:

— А мне страшно, что разлюбил ты меня, коль в глаза не глядишь. Я ждала слова твоего, как дождя в засуху.

Так растопился лёд молчания, и вновь заиграло тепло в очаге, и запела прялка, и засмеялись половицы.

Увидел то Велес, хранитель троп тайных и перекрёстков судеб, и возрадовался. Ибо нет пути короче к сердцу, чем честное слово, сказанное без укора, без гнева, с тихой надеждой.

И повелела Лада, чтобы каждая мать учила дитя не прятать слёзы за улыбкой, ибо слеза — не слабость, а семя, из коего всходит сила, как дуб из жёлудя. Пришла к матери девица, что таила боль в груди, как раскалённый уголь, и прошептала:

— Матушка, боюсь я, что не любя я миру. Что я одна во всей Вселенной.

А мать не стала бранить её, не молвила «не выдумывай», не отмахнулась, а прижала к сердцу горячему и прошептала, как заклинание:

— Скажи мне, какую беду носить тебе легче, когда я рядом? Вдвоём мы горы свернём, вдвоём мы тьму осилим.

И рухнула стена между ними, рассыпалась в прах, ибо в объятиях без суда правда прорастает быстрее семени в чернозёме под весенним дождём.

С той поры утвердился закон родовой, нерушимый, как сами устои мироздания: вечером, когда день утихает и звёзды возжигают свои лампы, садиться у очага и рассказывать друг другу всё, что на сердце лежит. Не злым словом судить, не ябедой перебивать, а слушать — будто сам Перун внимает, будто сама Лада каждое слово в Книгу Судеб вписывает. Ибо слово, сказанное с верой, крепче булата: оно не ранит, а врачует; не рубит, а соединяет. Что богатство алое? Золото рассыплется, камни истлеют, а нить доверия, сплетённая речами душевными, не рвётся даже в годину Чёрной Ночи, когда гасят звёзды одну за другой.

Так заповедали Боги: кто молвит искренно — строит мост в Навь, где души предков ждут весточки, ждут, чтобы их помянули добрым словом; кто слушает сердцем — сам становится богом для близких своих, их опорой и светом. И если ныне в доме твоём тишина, тяжёлая, как камень, ступи на тропу Лады: открой уста, и мир обернётся теплом.

За неделю до дня рождения Златогорки отец большого и дружного семейства собрал всех вечером, после сытного ужина, что сотворила Надежда Александровна. Ах, какая же она хозяйка, его Надюша... Его Монголка... При людях он величал её по имени-отчеству, а про себя источал нежности, пожирая взглядом. Она сводила его с ума. Сколько лет минуло, сколько детей вырастили в этом доме, да и сейчас поднимают, — думал Фёдор Викторович. И дело его, что кормило их все эти годы, тоже высасывало силы. Столько забот, но время для жены он выкраивал всегда: для него это было самым драгоценным в их союзе.

А ещё бывали вечера, когда они вдвоём, плечо к плечу, стояли у плиты — и это было такое блаженство, что словами не передать. А значит, сегодня будет что-то мясное: так, как готовил мясо Фёдор Викторович, не умел никто. Какой секрет таился в его стряпне, в его руках — эту тайну его супруга Надежда Александровна так и не смогла разгадать. И дети — их доченька Златогорка тоже помогала, и сыновья-близнецы Александр и Ведагор, гордость родительская. А младший, Фёдор Фёдорович, появлялся в такие минуты готовки неизвестно откуда: будто только что был на улице, на речке. Оттого и получался ужин таким божественным — что все вместе.

Фёдор Викторович никогда не пользовался весами и мерными стаканами. Он насыпал соль щепоткой, глядя куда-то в окно, словно советовался с небесами. Перец молот крупными оборотами — три раза, потом ещё один, для запаха. Мясо, которое он выбирал на базаре по субботним утрам, пахло травами и луговым ветром ещё до того, как попадало на сковороду. Да и базаром это назвать было нельзя — так, пара прилавков, где таёжные жители сбывали свои излишки. Туристы с охотой разбирали натуральные продукты, а Фёдор неизменно самолично выбирал мясо. Он брал вырезку с тонкими прожилками жира, обязательно на кости, и говорил: «В кости — душа». Надежда Александровна только вздыхала, принимая этот ритуал как часть их общей жизни, как тихое чудо, повторявшееся снова и снова.

Вечер начинался с запаха лука. Золотистого, прозрачного, будто сам свет растворился в масле — Фёдор Викторович томил его на медленном огне, бережно помешивая деревянной лопаткой, которую вырезал собственноручно год назад, и она успела впитать тепло его ладоней. Рядом, на соседней конфорке, шипело мясо: крупные куски, обжаренные до румяной корочки, схватившейся сочным хрустом. Златогорка, нахмутив лоб с серьёзностью, недоступной её возрасту, чистила морковь, стараясь срезать шкурку тонко-тонко, как учил отец, — и то и дело поглядывала на него, ловя каждое движение, словно хотела запомнить навсегда.

— Тятя, а почему ты лук сначала? — спросила она, поднимая голову.

— Потому что лук — это основа, дочка, — ответил он, не отрывая взгляда от сковороды.
— Он даёт мясу доверие. Если лук полюбит мясо, всё остальное само сложится.

— А если не полюбит?

Фёдор Викторович усмехнулся, подмигнул ей, переворачивая кусок говядины ловким щелчком запястья:

— Тогда я ему помогу. Видишь, как я его поглаживаю? Лук нежный, он ласку понимает.

Златогорка засмеялась и принялась чистить морковь ещё старательнее.

Близнецы Александр и Ведагор влетели в кухню шумным вихрем. Они спорили о чём-то своём, мальчишеском, но, увидев мясо на сковороде, мгновенно затихли. Александр, более спокойный и рассудительный, первым подошёл к столу, чтобы помочь: достал из шкафа тяжёлую чугунную утятницу.

— Батя, а мясо сегодня с черносливом будет? — спросил он, принохиваясь.

— Будет, Александр. Ты как угадал?

— Запах чувствуешь? Сладковатый такой, с горчинкой. Это чернослив пахнет.

— Ну, нюх у тебя, как у волка, — одобрительно кивнул отец.

Ведагор, непоседа и выдумщик, схватил пучок укропа и начал рассказывать:

— А мы сегодня с пацанами на речке пескарёй ловили! Представляешь, один такой здоровый вырвался, я за ним в воду прыгнул, чуть не утону!

— Ведагор, ты же обещал? — вздохнула Надежда Александровна, выглядывая из-за стола с ножом в руке.

— Мам, это ж ради рыбы! Геройский поступок!

— Геройский, а полотенце сухое где? — она покачала головой, но в глазах уже теплилась улыбка.

Фёдор Викторович слушал вполуха, кивая, но взгляд его оставался прикованным к сковороде. Он знал: мясо требует тишины и уважения.

И тут, словно из самой речной глубины, соткался из воздуха младший — Фёдор Фёдорович. Весь в золотистом песке, с мокрыми, взлохмаченными вихрами, с глазами, что сияли влажным, речным блеском. Он скользнул в дверь боком, бесплотной тенью, будто его и не бывало, но жаркий, пряный дух жареного мяса вёл его вернее любого магнитного компаса.

— Мам, я есть хочу! — выпалил он с порога.

— Опять мокрый! Простудишься! — всплеснула руками Надежда Александровна, но уже тянулась к полотенцу.

— Да не мокрый я! Это роса, — слукавил Фёдор-младший, но глаза его выдавали.

— Роса в июле? Ну-ну, — усмехнулась мать, накидывая ему полотенце на плечи.

Он уже стоял на цыпочках, заглядывал в утятницу и шептал:

— Тятя, можно я лук помешаю? Ну пожалуйста!

Фёдор Викторович, не оборачиваясь, передал ему лопатку:

— Держи. Только аккуратно, не спеши. Лук, он как вода — не любит суеты.

— Ага, — мальчишка взял лопатку дрожащей от нетерпения рукой и принялся водить по дну сковороды.

— Не так быстро! — остановил отец. — Чувствуешь, как он дышит? Вот, слушай. Это не просто еда, это разговор.

Фёдор-младший замер, вслушиваясь в шипение, и кивнул. Потом повернулся к отцу:

— А он что говорит?

— Он говорит: «Я готов». И ещё: «Спасибо, что не торопишь».

На кухне становилось тесно — до звона, до вздохов, до дрожи в воздухе. Посуда перекликалась тонкими голосами, крышки с шипением выпускали пар, ножи выстукивали по доскам ровный, уверенный ритм. Надежда Александровна резала хлеб — ломти ложились один к одному, деревенские, с коркой, что хрустела, как первый снег. Она ставила на стол соленья: огурцы, которых солила сама, — крепкие, пахнущие укропом и чесноком; квашеную капусту, пересыпанную клюквой, — янтарную, с кислинкой; мочёные яблоки — прозрачные, будто налитые светом. Всё это пахло погребом, сыростью земли и прошлым летом — тем летом, что уже не вернётся, но всё ещё жило в каждой банке.

— Фёдор Викторович, а мясо скоро? — спросила она, поправляя скатерть.

— Ещё немного, Надежда Александровна. Минут десять. Пусть дойдёт.

— А я проголодалась уже, — сказала Златогорка, присаживаясь на табуретку. — Мне кажется, я за весь день ничего не ела.

— А морковку ты не считаешь? — улыбнулся отец.

— Морковка — это не еда, это витамины, — надула губы дочка.

— Тогда сейчас будет еда, — пообещал Фёдор Викторович.

Когда мясо дошло в утятнице под тяжёлой крышкой, кухня наполнилась густым, тягучим ароматом — он просачивался сквозь стены, обволакивал двор и манил соседей на крыльцо, будто невидимая рука. Фёдор Викторович снял крышку ровно через час — ни минутой раньше, ни секундой позже. Мясо покоилось в соусе, тёмном, как смола, густом, как растопленная ночь, с кружочками моркови, что пламенели янтарём, и лавровым листом, отдававшим последний вздох пряности. Он попробовал кончиком ножа, прикрыл глаза — и все замерли, словно время остановилось, чтобы дослушать этот вкус до конца.

— Ну что? — едва дыша, спросил Ведагор.

Фёдор Викторович молчал. Потом медленно кивнул.

— Можно.

Надежда Александровна выдохнула и начала раскладывать ужин по тарелкам.

Садись за стол все вместе, тесно, плечом к плечу. Сыновья наперебой тянулись к большому блюду:

— Мне тот кусок, с косточкой!

— Нет, косточка моя, я первый!

— Тише вы, на всех хватит, — осадила их мать.

Златогорка аккуратно взяла самый маленький кусочек и сказала:

— А я буду с подливкой.

Фёдор Фёдорович, ещё не остывший после речки, уплетал за обе щёки, макая хлеб в соус:

— Мам, а у нас ещё хлеб есть? Я весь съем!

— Есть, есть. Не торопись, подавишься.

Свет горел ровно, за окном густело летнее небо, и во всём доме оставалась лишь эта кухня — единственный остров тепла, этот стол и этот ужин. Фёдор Викторович сидел во главе стола, смотрел на детей и жену, и такая полнота жизни нахлынула на него, что перехватило дыхание.

— Вкусно, тятя? — спросил Александр, облизывая ложку.

— Вкусно, сынок, — ответил он тихо.

— А какой секрет? Всё-таки расскажи, — настаивал Ведагор.

Фёдор Викторович улыбнулся, переглянувшись с женой:

— Секрета нет, ребята. Просто когда готовишь для тех, кого любишь, даже соль ложится иначе. И запах получается тот самый — домашний, единственный, который не спутаешь ни с чем.

Он протянул руку и погладил по голове Фёдора-младшего. Тот поднял глаза, испачканные соусом щёки блестели в свете свечи:

— Тять, а завтра тоже так будет?

— А как же, — ответил Фёдор Викторович. — Завтра будет новый день, и будет новый ужин. Но этот — уже никуда не денется, он навсегда с нами.

Потом он умолкал, глава семейства. Но супруга в этом молчании читала всё: детей и зверьё, дело его и родню, соседей — а он оставался один в этих думах, словно в тёмной, беззвучной глубине.

Нрав у главы семейства был не сахар — сам, бывало, маялся от собственных дум, от того, что всё в жизни разложено по полочкам да по клеткам. Надежда Александровна твердила ему без устали: «Люба мой, послушай меня: не хватает тебе вольной искры, хоть бы толики хаоса в размеренном твоём течении». И правду она рекла — у него вся жизнь расписана на годы вперёд, и течёт она, словно возок по накатанной колее. Да ведь надобно помыслить и о ней, о супруге, и о чадах малых: все сидят на одном месте, вросли корнями. Пора, видать, вывозить их в дальние края, показать им иную землю, иные просторы державы нашей. И эта дума всё крепче брала его за сердце, пускала корни глубокие, до самого нутра.

За день до этого, оставшись наедине, Фёдор спросил: «Надь, скажи, а есть у тебя от меня тайны?» Она взглянула на него прямо и без уловок ответила: «Наверное, есть». — Надежда сказала это в глаза, не лукавя, впрочем, как всегда. «А ты готова с ними поделиться? С твоими тайнами?» — не унимался Фёдор. «Готова, — ответила Надежда. — Спрашивай». Хотя, по правде, она не понимала, к чему этот разговор и что тревожит её супруга: вроде повода не давала. Целыми днями в заботах о муже, о детях, о живности, о доме — иной раз и присесть некогда. Да и не выезжала она уже много лет за пределы посёлка.

«Надь, скажи мне, пожалуйста, а чего бы ты хотела больше всего на свете?» — спросил Фёдор. «Всего довольно, — ответила она. — Чего Богов гневить? Дом — полная чаша. Дети с нами — не просто бывает, но все заботы о них мне лично в радость. У меня самые счастливые дети на свете, меня, как мать, это греет. Да и ты, Фёдор, меня не обделяешь своим вниманием. Говори, что случилось-то». «Скоро наши из Омска к нам прилетят, представляешь? Все разом — аж немного страшно», — ответил Фёдор. «Буду рада каждому, — ответила Надежда. — И особенно Аксинье и Илье Ивановичу. В нашем доме их и примем. Говори, что тревожит твою душу». Он посмотрел и ответил: «Златогорка, дочь наша любимая».

Надя понимала, к чему он клонит. Дочь окончила школу весной с золотой медалью. Балл у неё высокий — любой вуз страны распахнул бы перед ней двери, стоит лишь пожелать. Но вместо этого она попросила у родителей год тишины: год не поступать, не спешить, не рваться в будущее очертя голову. Помогает матери по дому, с отцом выбирается в походы с туристами — ладит с людьми, легко находит общий язык. А на фабрике — то и дело подменяет его, смышлёная, быстрая, надёжная. «Надя, — голос его дрогнул, — почему она не идёт в университет? Что тревожит нашего оленёнка? Ты замечала — она в последнее время всё чаще мол-

чит. Улыбнётся, поцелует меня в щёку и шепчет: „Тятя, не волнуйся, у меня всё хорошо“. Но я же вижу: что-то гложет её. Ответь, Надь. Может, с тобой, как с матерью, она делилась? Может, влюбилась? Я вот о чём думаю... Ну, влюбилась девочка — дело молодое, само собой». «Она не влюблена», — ответила мать, и голос её остался спокоен, как вода в тихой заводи.

Александр и Ведагор... Ведагор и Александр — наши сыновья. Им через два месяца уже пятнадцать. Любимые мои экспонаты, — улыбнулся Фёдор. — Надь, скажи, какие они у нас с тобой получились? Хоть в кино снимай.

— Да статные, — ответила Надя. — Все наши дети красивые, а главное — здоровые.

— Александр хочет после дня рождения Златогорки уехать на месяц к Игнату и к бабушке Зое погостить. Мне давеча сказал: «Мамочка, у тяти хочу разрешение попросить». Понимаю, что лето, и что помочь ему нужно, — проговорила Надя.

— Пусть едет, — ответил Фёдор. — Там подсобит в деле нашем.

— Змей Горыныч, — вдруг обронила Надежда, — мне кажется, твоя одна голова что-то знает об Александре, но молчит. — Она спросила в лоб, вонзив взгляд в мужа. — Раз у нас сейчас затеялся этот важный разговор, отвечай: что знает та голова?

— Надежда Александровна, не смотрите так на меня, прошу. Договорим — а после все эти взгляды.

— Отвечай, Змей Горыныч.

И Фёдор поведал ей разговор с бабушкой Абийе: о том, что душа отца Александра — в сыне их живёт.

— Она мне тоже об этом говорила, — отозвалась Надежда мужу. — И просила тебя не тревожить.

— И как давно?

— Лет пять назад, Надь. Представляешь? И мне лет пять назад сказала. И мы столько лет держали это в себе...

Они рассмеялись.

— Знаешь, Фёдор, — задумчиво промолвила Надя, и голос её струился тихой рекой, — во мне, в сыне нашем и в Игнате течёт одна кровь. Быть может, это зов крови неодолимо тянет их друг к другу.

— Ведагор без ума от Ильи, твоего внука. И что же — тоже зов крови?

— Фёдор Викторович, знаешь, как нас с тобой Ведагор любит и уважает? Мне зимой говорил, когда я с ним в больницу летала на вертолёте, а он боялся зуб лечить. А потом как-то прижался и шепнул: «Я всегда дерзил, выпячивался, быть первым хотел — это я внимание привлекал, мам. Мне кажется, что вы нашего Александра больше любите».

Фёдор посмотрел на жену:

— Надь, до чего же они у нас с тобой хороши — и вправду удались на славу! Зачаты в нежности, взлелеяны в огромной любви, оттого и растут такими — светлыми, настоящими, будто сама жизнь целует их в макушки.

Надя подошла к мужу, обняла. Он поцеловал её. И потом они сказали как-то одновременно:

— Фёдор Фёдорович...

Вот он — этот ребёнок, вымоленный у судьбы всем миром, всей их роднёй, каждой молитвой, что срывалась с губ в ночи.

— Надежда Александровна, — сказал он, вспоминая, — вкусная была яичница на Троицу...

— Надь, знаешь, я скажу тебе по секрету: нашего Фёдора Фёдоровича я иногда чураюсь. Мне кажется, он нас как сканер читает, — промолвил Фёдор Викторович.

«Чур» — не просто возглас, не мелькнувшее в испуге слово, а древний оберег, в котором, как в камне-самоцвете, запечатана вековая мудрость восточных славян. Слово это вырывалось из груди, будто магический щит, в час опасности, в миг, когда ледяная рука страха внезапно сжимала сердце. «Чур меня!» — и тотчас незримая черта, огненная межа, ложилась меж человеком и силами тьмы, отгоняя нечисть, сглаз, лихое влияние. Но за этим отчаянным вскриком стояла не пустая суеверность — то было имянаречение, призывание Чура, одной из ипостасей Рода — Вседержителя, создателя миров.

Род — начало всех начал, первозданный свет, из чрева коего родились Боги и явился род людской. Его чтили как подателя жизни, вершителя судеб и хранителя исконного уклада. Чур же стал его земным ликом — хозяином рубежей, ревностным стражем порога дома и родовых наделов. Он берёт святую землю от поганого вторжения, ворованное возвращал и блюл межвые знаки, не давая соседям на пядь чужого посягнуть. Оттого, сыскав потерянную вещь, говаривали со вздохом облегчения: «Чур, моё!» — признавая тем власть его над всякой вещью, что в роду пребывает и под его дозором состоит.

Сам возглас был не просто звуком — то был обряд, краткое таинство. Славяне ведали: Чур обитает незримо — у порога, под камнем межевым, на перекрёстке родовых троп, и имя его, произнесённое с верой, призывает небесный покров. Когда человек вскрикивал: «Чур меня!» — он принимал защиту предков, ибо Чура нередко почитали как духа пращура — старца-деда, который и после смерти, сойдя в землю-матушку, не забывает своих сродников, оберегает их от беды напрасной.

Короткая фраза — целая вселенная веры: от высшего Творца до земного стража у родного порога. И имя то стало оберегом, что передаётся из уст в уста через века, не тускнея, не ветшая.

Где Чур у порога — там предков подмога. Чур меня, Чур мой род — от всякой беды оберег и оплот.

А что же там Фёдор Фёдорович, младший их сын, о коем промеж любящих родителей столько речей велось и столько дум передуманных пролегло? Говаривали, что отрок он необыкновенный, словно бы зрит он их насквозь, до самой сокровенной глубины душевной, до тех тайников, куда и самим себе заглянуть порою страшно.

— В самую точку... — выдохнула Надежда. — Вот она, моя тайна. Или секрет от тебя, мой любимый муж.

— Надя, я лучше присяду. А ты говори, родная, говори — помоги мне вникнуть в самую суть.

Фёдор опустилсЯ в кресло в спальне, чтобы всем сердцем, каждой клеточкой души внимать каждому слову своей мудрой жены, Надежды Александровны.

Она перевела дыхание, собрала волю в тугой узел и заговорила, вонзив взгляд в самую глубину его глаз, словно пытаясь достать до дна:

— Фёдор Викторович, ты помнишь мой рассказ об отце, об Александре Григорьевиче? Судьба ему выпала необычная — страшная до леденящего холода. Бабушка Нина Пантелеевна часто твердила: в нашем роду испокон веков жили шаманы — люди, что чувствуют мир иначе, кожей слышат его шёпот, а костями — гул древних тайн. Отец мой этот дар отверг, как проклятие, отрёкся от своей крови — и поплатился сполна: его сломала та самая шаманская болезнь, что гложет изнутри, если человек бежит от своего пути. Он метался, задыхался в клетке собственного отрицания, но так и не принял того, что было дано ему от рождения. И Игнат, брат мой сводный, болен тем же недугом. Ты это знаешь — он тебе доверился, и ты, Фёдор Викторович, хранишь его тайну долгие годы. Ты, немой страж чужих секретов, молчал всю жизнь, но я всё поняла ещё тогда, в той таёжной сторожке, когда Игнат вызвал саму Хозяйку Тайги. Вы не обронули ни слова, но я прочла всё по вашим лицам — каждую морщину, каждую тень. И за это, — голос её дрогнул, стал тихим, почти шёпотом, сорвавшимся с губ, как последний лист с ветви, — я тебя уважаю и люблю.

Фёдор вздрогнул: редко слышал он от неё такие признания, и сейчас каждое слово прожгло его до самого сердца.

— А теперь взгляни на нашего Фёдора Фёдоровича, — продолжила Надежда, и голос её налился силой, будто в нём зазвенела сталь. — Ему всего одиннадцать, а он уже такой, что я порой теряюсь, словно стою над пропастью. Он не просто смыслённый мальчик — он будто видит людей насквозь, читает их мысли, кожей чувствует чужую боль. Я замечала это сотню раз: как он подходит к кому-нибудь из домашних, когда тому горько, и молча кладёт руку на плечо, словно вливает в него тихий свет; или как угадывает мои слова, ещё не успевшие родиться на губах. Бабушка Нина Пантелеевна, Сварги ей Пречистой, говорила мне: «Наденька, в нём сила древняя, от предков. Не гаси её, не ломай, как твой отец сломал себя». И Зоя Ивановна то же твердила: «Этот ребёнок — дар, а не наказание, но с ним надо быть начеку, чтобы не повторил он родовых ошибок».

— Я думала об этом годами, — голос Нади дрогнул, как натянутая струна, готовая оборваться в тишину. — В нашей старшей дочери, Златогорке, этого дара нет. Она светла и чиста, словно утренний луч, что скользит по траве, но не слышит того, что слышит он. И в близнецах, в наших красавцах Ведагоре и Александре, — она повторила их имена, словно пробуя на вкус, смакуя каждый слог, как драгоценное вино, — тоже нет. Они сильные, умные, добрые — я люблю их всей душой, каждого из четверых, до самого дна сердца. Но Фёдор Фёдорович... Он особенный. В его жилах струится кровь моего отца, кровь тех древних шаманов, что жили задолго до нас, в иные времена. И я молюсь, чтобы он не сломался, как они. Ты знаешь, Фёдор Викторович: с ним мне легко и просто, хоть он и вихрь — энергичный, резвый, бойкий, живой, настоящий до последней искры. Но порой я смотрю на него и вижу не просто сына, а нечто большее, что леденит меня до дрожи, до самого нутра.

Она умолкла, вперив взгляд в пол, а затем медленно подняла глаза — в них плескалась тревога, тёмная и глубокая, словно омут перед грозой.

— Вот моя тайна, Фёдор Викторович. Я переживаю за него. Боюсь, что этот дар, который мы не сумеем обуздать, раздавит его — как смял моего отца, как ломает Игната. Но я знаю одно: мы должны быть рядом, чтобы он не чувствовал себя запертым в одиночестве своей силы. Потому что если мы отвернёмся, он уйдёт в себя — как уходили все, кто был до нас, — и тогда мы потеряем его навсегда.

Фёдор Викторович молчал. Сверлил взглядом супружницу свою — так, будто видел её впервые. Он не узнавал её. Вся её речь, весь этот отчаянный поток откровения явил ему женщину, которую он не знал за долгие годы. Перед ним стояла не привычная, будничная Надежда, а древняя пророчица, сбросившая кожу обыденности и явившая себя в истинном, неприкрытом обличье. Каждое её слово врезалось в него, как стамеска в сырую глину, заново лепя портрет той, с кем он делил жизнь. Он думал, что знает её до дна, а она распахнулась перед ним — с болью, с испугом, с той трепетной верой, что делает человека и уязвимым, и прекрасным одновременно.

Он встал с кресла медленно, будто тело наливалось свинцом, но в глазах уже зажглось что-то новое, тёплое, решительное. Подошёл к ней, взял за плечи, чуть сжал, чувствуя, как она дрожит под его ладонями.

— Надежда Александровна... — выдохнул он, и голос осел хрипотой. — Надюша... Желанная моя... Моя Монголка.

Обнял он её — до хруста в белых костях, по-мужски, крепко, властно, и целовал так, что дух из неё вышибло, словно бурей с ног сдуло. Видно, не ждала она такой яростной ласки: руки её замерли на груди его, ясной и горячеей, а в очах — изумление, что с робкой радостью мешалось, как свет с тенью. Когда же он оторвался от сахарных уст её, стояла она бледная, смятенная, словно отроковица, что впервые извела медовый вкус поцелуя.

— Мы едем, — сказал он после этой вспышки, и в голосе зазвенела сталь.

— Не поняла, — ответила она, всё ещё в лёгком оцепенении. — Куда мы едем, любя мой?

Фёдор Викторович улыбнулся — той редкой улыбкой, что озаряла его лицо лишь в самые важные мгновения жизни. Провёл ладонью по её щеке, смахнув невидимую слезу, и произнёс:

— Надь, ты была восхитительна в этом признании. Завтра мы собираем круглый стол: мы с тобой и наши обожаемые дети. И тогда я скажу.

Она хотела возразить, спросить, что он задумал, но он прижал палец к её губам — и поток вопросов иссяк, не успев родиться. В его взгляде плескалась такая спокойная, нерушимая уверенность, что она вдруг поняла: спорить бесполезно. Этот человек, её Фёдор Викторович, её немой страж чужих тайн, решился на нечто великое. И она, Надежда Александровна, мать четверых детей, дочь шаманского рода, должна была просто довериться ему — так же, как он доверился ей, когда она распахнула перед ним свою душу до самого дна.

Ночь прошла в тревожной тишине, где каждый думал о своём, но оба смотрели в одну сторону — туда, где спал их младший сын, Фёдор Фёдорович, мальчик, в котором билась древняя, дремучая сила, требовавшая не власти, не страха — а мудрого, почти материнского обращения.

Наутрие, когда батюшка-глава рода встретил восходящее солнце древним приветствием и омыл лик в студёной струе таёжной реки, ступил он в горницу. Домочадцы уже помогали матери, светлой Надежде Александровне, накрывать стол к утренней трапезе. Близнецы, Ведатор да Александр, проводывали сети с уловом, пути странничьи, а заодно и письма электронные от фабрики мебельной — дабы доложить отцу. Ведала Надежда Александровна: супруг её, мельком взглянув в телефон, уже знал всю подноготную. Но таков устав дома, такова воля отца-наставника в едином лице. К завтраку собрались все: Златогорка-краса в сарафане праздничном — светла, как заря утренняя; близнецы, вечно спешащие по делам; и сам Фёдор Фёдорович — сосредоточенный и серьёзный, будто уже провидевший, что речь пойдёт о нём.

Фёдор Викторович поднялся, обвёл взглядом чад своих. Златогорка прильнула к отцу, поцеловала в щёку:

— Доброе утро, тятенька.

От этих слов сердце его с каждым годом таяло всё пуще, будто воск на тёплой ладони.

— Доброе утро, оленёнок. Красой нынче саму себя превзошла.

Потом взор его обратился к супруге — все нежности не при детях; с утра уже были и долгие приветствия, и миг пробуждения, и даже чуть более того. И начал он речь:

— Чада мои возлюбленные. Открыла мне вчера мать ваша то, о чём догадывался я, но признать страшился. Ведаете вы, что в роду нашем живёт сила — не простая, древняя, от предков идущая. И носит её в себе брат ваш, Фёдор Фёдорович. Но носит не как бремя тяжкое, а как дар светлый, коий мы обязаны сберечь и не дать ему сломить отрока.

Он обратился к сыну младшему:

— Фёдор Фёдорович, не одинок ты. Николи. Мы с матерью будем подле. А вы, — кивнул прочим детям, — опорой ему будьте. Ибо семья — не те, кто под единой кровлей живут, а те, кто в бурю за руки держатся. По вечеру, после ужина, соберёмся на беседу долгую и важную. Прошу всех быть в сборе и не замешкаться.

Надежда Александровна взирала на мужа с изумлением да гордостью. Не ждала она такого решения, но в глубине души ведала: путь сей — единственно верный. Фёдор Фёдорович поднял очи на отца, и блеснула в них та самая древняя мудрость, что страшила её по ночам.

— Благодарствую, тятя, — молвил Фёдор Фёдорович тихо, но твёрдо.

— Надежда Александровна, потчуйте уже завтраком-то.

Завтрак прошёл в непривычной тишине, густой и зыбкой, словно каждый звук тонул в ней, не успев родиться. Златогорка то и дело вскидывала встревоженный взгляд — то на отца, то на мать, — но молчала, нутром чувствуя: час откровений ещё не пробил. Близнецы, обычно перебрасывавшиеся шутками и планами на день, ели сосредоточенно, изредка поглядывая на младшего брата, словно видели в нём нечто, что раньше ускользало от их внимания. Фёдор Фёдорович сидел с прямой спиной, будто впитал в себя всю тяжесть отцовских слов, и лишь изредка касался рукой стола, проверяя его на прочность — словно искал опору в этом мире, который вдруг покачнулся. Надежда Александровна разливала чай, и руки её чуть подрагивали; она понимала: вечерний разговор станет поворотным для всей семьи, и боялась его не меньше, чем ждала. Страх и надежда сплелись в ней в тугой узел.

Когда трапеза завершилась и домочадцы разошлись по своим делам, Фёдор Викторович задержал жену в горнице. Он взял её за руку, привлёк к себе и заглянул в глаза — те самые, что ещё вчера распахнули пред ним бездну её души, полную света и мрака. «Надюша, — произнёс он тихо, но голос его звенел твёрже стали, — я знаю, ты боишься, что я не совладаю, что не постигну всей глубины дара нашего сына. Но пойми и ты: я не учёный муж и не шаман, я просто отец. И я сделаю всё, чтобы он не повторил судьбу твоего отца. Всё, что в моих силах, и даже больше». Она молча кивнула, прильнув к его груди, и впервые за долгие годы почувствовала, что тягота на её плечах стала чуточку легче — будто камень, что несла она одна, вдруг подхватили надёжные руки.

День тянулся медленно, словно время нарочно растягивалось, даруя каждому миг, чтобы впитать грядущее. Ведагор и Александр, вернувшись с реки, застали отца в кабинете: он перебирал старые семейные фотографии, среди коих — бледные, выцветшие — лежали и снимки Александра Григорьевича. Близнецы замерли молча на пороге, не смея нарушить его дум. Фёдор Викторович поднял голову — взгляд его был тяжёл и светел в одночасье, — оглядел сыновей и негромко вымолвил: «Вечером вы узнаете то, что мать ваша скрывала от вас долгие годы. Будьте готовы. Не к страху — к пониманию». Близнецы переглянулись и согласно кивнули, чувствуя: в доме зреет нечто, что перевернёт их жизнь, как ветер переворачивает страницы старой книги.

Это был его фирменный чёрный юмор — едкий, как полынь, и колкий, как зимний ветер. Супруга давно изучила все подводные рифы его насмешек и мрачных разговоров, научилась лавировать между ними с терпеливой улыбкой. Но детям отцовские шутки оставались неведомы, словно тайнопись на чужом языке, — они впитывали каждое слово буквально, беззащитные перед его горькой иронией.

Фёдор Фёдорович провёл этот день на речке с соседскими ребятами-староверами из Рябитовки. Они рыбачили, плескались; девчата визжали, но не отходили ни на шаг. И всем посёлком дивились на мальчика: с виду — обычный парнишка, а мир вокруг него будто оживал,

звенел, купался в солнечном беззаботном детстве вместе с ним. Был он не только желанным чадом и любимцем своей семьи, но и всей округи. Социальные сети его ломились от подписчиков — в разы больше, чем у старших братьев-близнецов. Говорил он занятно, не как малый одиннадцатилетний отрок, а словно мужичок, умудрённый опытом. Надежда Александровна, стоя у окна, подолгу смотрела на сына и улыбалась — до чего ж хорош!

Налюбовавшись дивными видами из кухонного окна — окрест раскинулась величавая тайга, а рядом бежала речка, где сейчас плескался и упивался беззаботным детством её младший сын, — Надежда Александровна вдруг услышала: в кабинете, появившемся в их доме совсем недавно, покряхтывает её муж. Обычно она его не тревожила, но сегодня, на удивление, он никуда не уехал, а просидел там целый день. Верно, думает. И супруга решила потревожить его — или хотя бы отвлечь от тяжких дум своего уважаемого и горячо любимого мужа, Фёдора Викторовича.

Она ступила в кабинет мужа. В доме стояла та особенная, звенящая тишина, когда даже половицы перестают скрипеть, будто прислушиваясь к чему-то важному. Златогорка ушла к Илье да Степаниде — те позвали её подсобить по хозяйству, и теперь пустота комнат дышала покоем.

«Фёдор Викторович, куда мы едем?» — голос её прозвучал мягко, с оттенком любопытства. — «Знаешь, с удовольствием бы съездила. Я, кажется, засиделась в этих стенах. Нет, не жалуюсь, но ох как тянет обстановку сменить, развеяться...» — она взглянула на него с той лаской, что согревает взгляд.

Он улыбнулся, и в уголках его глаз затеплились тёплые искорки: «Потерпи, родная. Не хочется сюрприза раскрывать. Хочу, чтобы ты вместе с ребятишками порадовалась».

«Хорошо», — выдохнула она, словно принимая в себя неведомое, но давно желанное. «Пойду ужин готовить».

«Надь, я с тобой, — перебил он мягко, но настойчиво. — Вместе приготовим».

«А давай», — откликнулась она, и в голосе её плеснулась тихая, светлая радость.

Он взял её за руку, притянул к себе и поцеловал — так, будто хотел вложить в одно мгновение всё, что не высказать словами.

И в этот миг в дом ворвался Фёдор Фёдорович. Родители отшатнулись, словно их ударило током. «А это вы тут что делаете? — спросил мальчуган, остановившись посреди горницы, и голос его звенел, как натянутая струна. — Ну, говорите! И знайте: я гостил в тундре два месяца, и никакой я не шаман — я видел настоящих! Во мне усердия нет, да и вообще — девчонки вон какие красивые!» — и он рассмеялся, звонко и дерзко, будто рассыпал по избе горсть серебряных монет.

«Чего?» — опешил отец, и брови его взметнулись вверх, словно две испуганные птицы. «Мать, неси ремень, живо! Дурь из него выбивать будем».

«Отчего же дурь, тять? Вы вон как нашу маму любите, и я весь в вас. Так что я сейчас бутерброд возьму. Мам, ты собрала? Просил тебя».

«Собрала, родной», — ответила мать, и голос её дрогнул, словно струна, тронутая нежной рукой.

Он подбежал, порывисто обнял её, поцеловал: «Мама, какая ты у нас красавица! Тять, я буду к ужину, а сейчас...» — и вылетел прочь, как вольный ветер, не дав опомниться ни отцу, ни матери.

«Любимый», — выдохнул отец, глядя на жену, и в голосе его плескалось изумление.

«Метеор», — улыбнулась мать, и в глазах её зажглись тёплые, родные искры.

Среди дорог, где ветер точит камень,
Где счастье — птица с выцветшим крылом,
Я поняла: мужчина — это пламень
В руках судьбы, но женщина — тот дом,
Где этот пламень бережно хранится,
Где он не жжёт, а греет без конца.
И мир стоит, покуда не дробится
Единый свет с любимого лица.

В её ладонях — не очаг, а вечность,
Не жертва — жизнь, дарованная в рост.
В её молчанье дышит бесконечность,
В её улыбке — перекидной мост
От прошлых бед к грядущим урожаям.
Она — земля под корнем бытия,
Где дети — продолженье, не чужие,
А кровь и воздух, общая струя.

А он — не меч, а рукоять покоя,
Не господин, а спутник до седин.
Дорога, начатая не с прибоя,
А с тишины, где двое как один.
И вместе — не оковы, не владенье,
А две реки, что слиты в одно русло,
Где он — земля, а в ней — его цветенье,
Где им вдвоём безбрежно повезло.

И дети в дом — как утро, не как бремя,
Как продолженье света в глубину.
Вот дочь — заря, разбуженное время,
Вот сыновья, хранящие страну
Своей души, не тронутый раздором.
А младший — эхо всех лесных дорог.
И этот дом, не строенный топором,

Стоит на том, что им отмерил Бог.

Подумать только — счастье не за морем,
Не в сундуках, не в бархате палат,
А в этом вот, нечитанном, немом,
Где детский смех на все лады звонят.
Оно — в муке, просеянной сквозь сито
Привычных дней, в ресницах на щеке,
В том, что зовётся просто и открыто:
«Мы навсегда на этом сквозняке».

И нет венца превыше этой доли —
Навеки быть привязанным к своим,
Где даже боль — не соль на рану, боле,
А общий вздох, который не делим.
Сквозь пальцы, омывающие лица
Любимых, неразлучных и родных,
Так жизнь течёт, и так она продлится —
В объятьях самых вечных, дорогих.

Ужин, сотворённый Фёдором и Надеждой, дышал великолепием и утончённой изысканностью. Стол, воздвигнутый в просторной горнице, сиял праздничным блеском, словно алтарь семейного торжества. Белая скатерть, расшитая неумолимой рукой Надежды Александровны, простиралась безупречным полотном для серебряной утвари, извлечённой из сумрачных недр старинного комода. Венцом трапезы, истинной гордостью Фёдора Викторовича, стала запечённая лосятина с можжевельными ягодами — его коронное творение, дышащее духом леса. Надежда Александровна, вопреки суровой близости тайги, искусно создала лёгкий салат из свежайших овощей, купленных у соседей: помидоры, сочащиеся солнечным соком, хрустящие огурцы, редис и душистая зелень, сдобренные ароматным маслом. Земля, щедрая в объятиях приветливой тайги, обильно даровала свои плоды, словно сама природа склонилась перед этим столом.

Зима в их таёжном посёлке не была просто временем года — она была государыней, что на полгода запирала людей в избах, укутывала крыши пуховыми шапками снега и затягивала окна ледяными кружевами. Мороз здесь дышал по-хозяйски: студил воздух до звона, вымораживал из брёвен смолу, превращал тропки в скользкие ленты. И в этой белой тишине, когда до ближайшего большого села — три дня на собаках, а до города и вовсе неделя, — люди особенно ценили тепло человеческого голоса.

Фёдор Викторович, мужчина не кряжистый, но статный, — сам себе говаривал: «Я кряжистый», — а жена Надежда ласково перечила: «Ты мой князь, с годами краше стал, с сединой в бороде да с руками, что топор держат». И задумал он субботние посиделки не ради забавы. Сам срубил этот дом — просторный, с высокой крышей и широкими окнами, — и чуял, что стенам его не хватает жизни. Молвил жене: «Дом — он как печь: пока не затопишь, тепла не будет. А тепло это — от людей». Поначалу сельчане дичились. Кому охота в субботу, после долгой недели, идти в гости, когда дома свои дела? Но Фёдор Викторович был упрям: сам

обходил избы, кланялся, приглашал. И вот — сначала две-три женщины робко переступили порог, потом с десятков, а там и девушки потянулись.

В доме пахло сосновой смолой и воском, густым и тёплым, как дыхание самого леса. В передней горнице теплилась лампада, а на столе, в медных подсвечниках, стояли свечи — живые огоньки, что дрожали, словно души. Женщины рассаживались кто на лавки, кто на низкие табуреты, и начиналось то, ради чего стоило идти сквозь морозную тьму, продираться сквозь ветер и звёздную крупу.

Они пели. Голоса их — негромкие, но чистые, как первый лёд на утренней реке — набирали силу постепенно, словно вызревали из тишины. Зачинала обычно бабка Агафья, древняя староверка, что жила на отшибе, у самого леса, где сосны подпирают небо. Голос у неё был тонкий, как нить из паутины, и тянула она его долго, бережно, будто пряла из воздуха что-то невидимое и вечное. Песни пели старые, те, что от прадедов остались, где каждое слово — как камень на ладони: и тёплый от прожитого, и шершавый от непрожитых бед. Одна из них начиналась так:

Ой, тайга моя, тайга,
Развесила косы.
За метелью не видать
Ни звезды, ни плёса.
А в избушке свет горит,
Лампадка у иконы,
Нас Господь не позабыл
В глуши освещённой.

Женщины подхватывали — кто в голос, кто шёпотом, врастая в единый напев. И в этом пении просыпалось что-то древнее, глубинное, идущее из самой таёжной толщи, из тех корней, что прячутся глубже человеческой памяти. Мужчины, если заглядывали на огонёк, у порога снимали шапки и стояли молча, погружаясь в звук, словно в тихую воду родника.

Надежда Александровна, жена Фёдора Викторовича, сидела у окна, и руки её — лёгкие, привычные к игле — бежали по ткани быстрыми, уверенными птицами. Именно на этих посиделках она и прикипела душой к вышивке. Сначала просто перебирала узоры — крестиком, гладью, — а потом начала их выдумывать сама, словно сажая на ткани свои сны. На скатертях и салфетках у неё расцветали диковинные цветы: жар-птицы с клювами, загнутыми, как месяц на рожках, листья папоротника, что переплетались с геометрическими звёздами, будто древние знаки. Она брала нити из сундука, крашенные корой ольхи и луковой шелухой, и каждый стежок ложился ровно, покорно, словно сам просился на полотно — благодарный и живой.

Женщины любовались её работой. Бывало, одна из них — молодая Марья, с косой до пояса, тяжёлой и тёмной, как смоль, — вздыхала: «Надежда Александровна, у вас руки золотые. У меня так в жизни не выйдет». А та в ответ только улыбалась мягко, будто светом озаряя угол: «Не торопись, Марьюшка. Вышивка — она как молитва: спешки не любит. Стежок за стежком — и придёт. Всему своё время».

Скатерти и салфетки Надежды Александровны сначала оседали в домах родных, грели их столы, потом перебирались к соседям. А потом слух о них пошёл дальше — по тропам, по рекам, по людской молве. Туристы, что редкими летними днями заезжали в посёлок — фото-

графиловать вековые кедры и слушать о староверах, — увидели её работы и ахнули, замирая над узорами. Одна женщина из города, в очках с толстыми стёклами и с дорогим фотоаппаратом на шее, взяла в руки скатерть и долго молчала, водя пальцем по нитям, будто читая невидимую книгу. «Боже мой, — выдохнула она наконец, — это же музейная вещь. В Москве такие вышивки в частных коллекциях хранят. Сколько возьмёте?» Надежда Александровна смутилась: она не думала о цене, вышивала для души, для той тихой радости, что идёт изнутри. Но взяла немного — на нитки и на свечи. Так её работы и пошли гулять по свету, неся в себе тепло далёкого таёжного вечера и молитву, зашитую в каждый стежок.

Зима тянулась медленно, и субботы, словно сестры, сменяли друг друга. В горнице было тепло — дышала печь, разговаривали люди. Порой бабка Агафья заводила сказы: про лешего, что кружит путников до упаду, про водяного в черной реке, про клады, схороненные под корнями столетних лиственниц. Девушки слушали, затаив дыхание, и иглы замирали в их пальцах, будто сами боялись нарушить тишину. А под конец вечера Надежда Александровна расстилала на столе новую скатерть — и все смотрели, как при свете свечей оживают её нитяные чудеса, распускаясь цветами и травами.

Вот какой была та зима: долгой, морозной, но согретой песнями, вышивкой и добротой. И дом Фёдора Викторовича стоял в сугробах, словно корабль в белом океане, а из окон его лился тёплый свет, и слышались голоса, что не давали душе замёрзнуть.

В зимние вечера Надежда Александровна, восседая в новом кресле, сотворённом по эскизам мебели купцов Рябушинских, предавалась рукоделию — вышивала салфетки тонким, едва уловимым узором. В печи ядрёным жаром потрескивали берёзовые дрова; рядом, свернувшись пушистым клубком, покоилась Тундра — пёс-маламут, верный страж домашнего очага. Дети: кто в забавных играх, кто над уроками прилежно склонясь, а кто и просто притулившись рядом, внемля тишине. Фёдор Викторович в эти мгновения бывал на редкость смирен и тих: либо стоял, опершись о резную притолоку, либо сидел на диване, обнимая дочку Златогорку, — и все они, словно замороженные, взирали на свою любимую супругницу и матушку, что пела. Едва голос её, чистый и светлый, разливался по дому — всё затихало, даже пламя в печи будто внимало. Она пела не стесняясь, ибо была дома, в кругу родных кровных. Лишь изредка Хозяйка Тайги — птица невиданная — стучала клювом по студёному стеклу в окно; тогда женщина умолкала, возводила очи горе и молвила: «Благодарю тя, Матушка наша Заступница и Хранительница, за судьбу счастливую благодарю», — и вновь продолжала песнь свою. Фёдор Викторович в эти минуты был несказанно рад и счастлив, и душа его просила: продли, Боже Свароже и матушка Лада Богородица, мгновения сии навечно.

Как река в половодье полнится от чистых ключей, так и дом наш согрет ладом да любовью; где лад — там и Боги родные радуются, и душа поёт от тепла, что светится в каждом окошке.

Пролетела стрела по ковыльной тропе,
Задержалась в руке нитью тонкой, простой.
Не в хоромах живу — в резной городьбе,
Занесённой по окна таёжной зимой.

Сквозь пургу, словно лютый зверь, пробираешься ты,
Голос твой, яко пламя, над плесом кочует.

«Монголка моя», — шепчешь в мглу с высоты,
И душа отогрелась, и сердце ликует.

Ой, тайга ты, колыбель,
Полог твой — атлас небесный.
В горенке скрипит кудель
Песней долгой, безучастной.
Только мне ли горевать?
Ты со мной, мой сокол ясный.
Господи, какая гладь
За глухим потоком красным!

Я судьбу расшиваю простым стебельком,
Где суровая дёржка шелками обвилась.
Наше счастье не меряно кратким деньком —
Это по небу белому Божья стезя пролилась.

Ты твердишь мне: «Родная, какой же обет
Нас связал от рожденья до самого края?»
Я молчу в тишине, но лучинный свет
Нас на древней иконе венчает, мерца.

Ой, ты, Матушка-Тайга,
Белая купава.
В срубе тёмном колыбель —
Богу честь и слава.
Чада спят в одной избе,
Сны летят по кругу.
Мы одни на всей земле
Бережём друг друга.

И вновь мы отвратили взор от жития сего дивного семейства, да приспела пора возвратиться в тот вечер, егда соберётся их родимый круглый стол.

Атмосфера в доме дышала томительным ожиданием. Тишина, царившая ещё утром, сменилась предчувствием чего-то небывалого, но притом сокровенно-уютного. Дети один за другим стекались к столу. Златогорка, коей едва минуло восемнадцать, вошла первой; юная красота её распускалась с каждым днём, словно первый цвет весны. Следом явились близнецы, Ведагор и Александр, коим вот-вот должно было исполниться пятнадцать. Их мальчишеская бравада уже уступала место задумчивой юности, предвещающая грядущие перемены. Последним, по заведённому обычаю, вбежал меньшой — одиннадцатилетний Фёдор Фёдорович, сжимая в руках нечто заветное; он всегда являлся с гостинцем для матери и сестры, да и отца с братьями то и дело баловал. Истинный любитель одаривать! И как же они все его обожали — не столько за эти дары, сколько за тот свет, что он источал самою своей человечностью, словом, за ту самую ласку, коей стал их всеобщим любимцем. Едва он появлялся, все разом тянулись к нему,

трепеща от умиления: «Любимый!» Он сиял в ответ, одаривая каждого своими монгольскими очами, и молвил: «Да полно вам, не смущайте, хоть я и вас всех люблю».

Маламут Тундра, двенадцатилетняя старушка — так ласково величали её в семье, — дремала под столом, свернувшись пушистым клубком. Годы сделали её ещё более флегматичной, но любовь к ней лишь окрепла. Каждый, кто переступал порог, невольно искал её взглядом — чтобы погрузить пальцы в мягкую шерсть, ощутить живое тепло и сунуть заветный лакомый кусочек. Сегодня она, словно чуяла: в доме свершается нечто особенное. Лишь изредка Тундра приподнимала тяжёлую голову, и её внимательный, но сонный взор встречал и провожал домочадцев, храня древнюю тайну собачьей мудрости.

Когда все расселись, Фёдор Викторович обратился к детям: «Сегодня вечером мы поговорим. Поговорим о вас, о будущем. И я хочу, чтобы вы знали: мы любим вас безмерно и сделаем всё, чтобы вы были счастливы». Его слова, произнесённые тихо, но с несокрушимой твёрдостью, прозвучали как нерушимое обещание.

Дети слушали, затаив дыхание, чувствуя: этот разговор станет той гранью, за которой их жизнь переменится навсегда. Надежда Александровна, вглядываясь в свою семью, ощущала, как трепет перед неизвестностью сливается с безграничной любовью и святой верой.

Вечеря отзвучала, и всё семейство вместе с Тундрой плавно перетекло в гостиную. Просторная светлица, озарённая лишь немногими свечами в высоких медных шандалах, встретила их благодатным полумраком. Горели всего два электрических светильника, подделанных под подсвечники. В печи весело потрескивали дрова, мечта по стенам пляшущие тени. Надежда Александровна направилась к своему креслу, стоявшему чуть поодаль, у окна. В кресле том таилось нечто большее, нежели добротная мебель. Стояло оно в углу гостиной, у окна, обращённого к бескрайней тайге, и казалось существом живым — терпеливым стражем, вобравшим в себя тепло многих вечеров. Спинка его, высокая и чуть откинута назад, напоминала расправленные крылья великой птицы, застывшей в полёте. Тёмно-вишнёвый бархат, коим она была обита, при всяком движении света менял оттенок: то вспыхивал густым рубином, то угасал до цвета запёкшейся крови, а в сумраке становился почти чёрным, с едва уловимой рыжеватой искрой.

Резьба на подлокотниках заслуживала особого внимания. Мастер, творивший сие кресло, ведал толк в своём ремесле: дуб, из коего были вырезаны широкие, удобные для ладоней плоскости, не просто покрывал дерево узором, но повествовал историю. С левой стороны, ежели сидеть, вились стебли с мелкими листьями — прожилки их прорезаны были столь тонко, что, казалось, тронь их, и они зашелестят. С правой — гроздья неких плодов, круглых и тяжёлых, свисали меж завитками. И вся сия резьба была не лакирована, но лишь пропитана воском — так, что дерево дышало, источая слабый, терпкий аромат, смешанный с запахом старого дома.

Ножки кресла, массивные и слегка выгнутые, завершались резными лапами, сжимавшими шары из тёмного камня — верно, гранита. Шары сии не давали креслу скользить даже на паркете, и при каждом движении слышался лёгкий, сухой стук — словно бы кто невидимый перебирал костяные чётки.

Но главным чудом была подушка. Хозяйка вышивала её долгими зимними вечерами, когда за окнами мела метель, а в доме тихо потрескивали дрова. Серый лён, плотный и шероховатый, стал фоном для узора, который она помнила с книг старинных: золотой цветок, подоб-

ный помеси ромашки с лилией, но с семью лепестками и чёрною серединкой, из коей расходились тонкие лучи. Сей цветок — охранительный знак, как говаривала её бабка, пришедшая из-за Урала, — должен был отгонять дурные сны и привлекать в дом покой. И, сидя в этом кресле, невольно верилось, что так оно и есть.

Сиденье было не слишком мягким, но и не жёстким: пружины, сокрытые под слоями войлока и конского волоса, держали форму, не проваливаясь и не продавливаясь. Когда садились, кресло издавало едва слышный вздох — будто оно принимало человека в свои объятия. И стоило лишь откинуться на спинку, как плечи сами расправлялись, голова обретала удобное положение, и мир суетный отступал на шаг.

Было в сей вещи нечто от старинных тронов: основательность, значительность, тихая гордость. Кресло не терпело суеты, не прощало грубости — ежели его толкнуть или подвинуть резко, оно отвечало глухим, недовольным гудом. Но ежели обращаться с ним бережно, оно становилось лучшим другом: в нём хорошо читалось, с ним коротали бессонные ночи, в нём выплакивали обиды и строили планы на будущее.

Особенно красиво было кресло в сумерках, когда солнце уже садилось и комната наполнялась синим полумраком. Тогда вишнёвый бархат темнел до цвета старого вина, резьба на подлокотниках оживала тенями, а золотая вышивка начинала мягко светиться, словно изнутри. Казалось, что цветок на подушке вот-вот распустится по-настоящему, раскроет свои семь лепестков и испустит в воздух тонкий, нездешний аромат.

И всё сие — и дуб, и бархат, и льняная вышивка, и гранитные шары — было создано не просто для красоты, но для долгой, спокойной жизни. Кресло ведало, что простоит ещё не один десяток лет, переживёт и своих хозяев, и их детей, и, может статься, внуков. Оно не торопилось, не страшилось времени, ибо сделано было на совесть, с мыслию о вечности. И те, кто садился в него хотя бы единожды, понимали сие без слов — по той удивительной тишине, что вдруг поселялась в душе, по тому покою, который окутывал, словно мягкий шерстяной плед.

Фёдор Викторович же и дети расположились супротив, на роскошном диване. Диван тот был широк, с высокой спинкой, обитой зелёным сукном с едва зримым растительным узором. На нём в беспорядке лежали подушки — одни шитые бисером, другие простые, льняные. Фёдор Викторович сел посередине, возложив руки на колени, и оглядел чад своих. Златогорка примостилась с краю, поджав под себя ноги; близнецы устроились по бокам от отца, а меньшой, Фёдор Фёдорович, вскарабкался на колени к матери, хоть мать и делала вид, что он уже велик для таких нежностей. Тундра же, кряхтя, поднялась из-под стола, неспешно переступила лапами и с глухим стуком улеглась у ног Надежды Александровны, положив морду на её домашние туфли.

В горнице было тихо. Слышно было, как потрескивают дрова да как за окном, в морозной мгле, изредка поскрипывает снег под чьими-то осторожными стопами — может, сосед ворочался откудова, а может, просто слух играл на тишине. На столике у дивана стоял медный поднос с чашками — чай уже заварили, и пар тонкими струйками подымался к потолку, смешиваясь с запахом хвои и воска. Надежда Александровна откинулась на спинку кресла, и персты её машинально погладили бархатную обивку. Она чувала, как кресло принимает её — мягко, но с достоинством, словно старый друг, что ведает, сколько лет носила она на плечах своих заботы сего дома.

Фёдор Викторович кашлянул, прочищая гортань, и все обернулись к нему. Он не спешил начинать беседу, будто собираясь с мыслями. Свечи на столе мерцали, и свет их падал на лик его, делая морщины глубже, а очи — темнее. Наконец он заговорил, и глас его звучал негромко, но твёрдо, как всегда, когда он принимал важное решение. «Дети, — молвил он, — мы с матерью долго думали. Время идёт, вы растёте, и нам пора решать, как быть далее. Не всё в сей жизни даётся само — кое-что избирать надобно». Он умолк, и в тишине стало слышно, как Тундра вздохнула во сне, шевельнув ухом. Златогорка подняла взор на отца, и в очах её читалось спокойное чаяние — она ведала, что вечер сей будет особенным, и была готова внимать.

Фёдор Викторович помрачнел лицом, на миг задумчиво замолчал, а затем, словно подводя черту, произнёс веско и коротко: «Мы едем».

В комнате повисло напряжённое спокойствие — никто не смел прерывать отца в такие минуты.

— На днях к нам приезжает вся наша огромная родня на день рождения нашего оленёнка, — он с нежностью взглянул на Златогорку. Та, подойдя, присела рядом. — Как же время летит быстротечно... Скоро восемнадцать. Совсем взрослая, мой любимый оленёночек.

Девушка улыбнулась, прильнув крепче:

— Тятенька мой...

Он млел. Надежда Александровна молчала, лишь созерцала эту идиллию.

Фёдор Фёдорович подбежал к отцу и, по-взрослому сдвинув брови, заговорил:

— Ну хватит уже этих нежностей! Куда мы едем, тять? Не томи! — сказал их любимый младший сын, одиннадцати лет, с серьёзностью не по годам.

— Не знаю, — ответил отец.

— Вот те новости! — встряла наконец Надежда Александровна.

— Говорите уже, Фёдор Викторович! Вторые сутки томите! Хотя, зная вашу натуру, вы нас через всю тайгу протащили к моим бабушкам, не сказав ни слова. Говорите! — не унималась его любимая жена.

О, как её мужу нравилась эта злючка-колючка, его Монголка, и это её нетерпение!

— Вам и решать, Надежда Александровна, куда мы все поедем после дня рождения дочери. Вам выбирать маршрут.

— Мы едем все вместе? И Тундра? — спросила Златогорка.

— Нет, оленёнок, — ответил отец. — Тундра уже стара для таких путешествий. Дома побудет, под присмотром Ильи... а может, и ещё кого-то, — загадочно произнёс отец семейства.

Надежда Александровна сразу поняла его взгляд и тон.

— И что вы хотите сказать, Фёдор Викторович? Что в эту поездку едем мы с вами, наши любимые дети и... ещё кто-то? Вы меня извините, но не все же гости с нами двинутся в путь? Это очень ответственно. Да и через полтора месяца школа: сыновьям — в девятый класс Ведугору и Александру, да и Фёдору Фёдоровичу — в четвёртый.

Фёдор Фёдорович не собирался ни в какой четвёртый и встрял:

— Можно и прогулять этот четвёртый класс!

Отец взглянул на него и потянул руки; тот с удовольствием забрался к нему.

— Ну, так-то время нужно на подготовку, но и школу никак нельзя прогуливать...

— Может, придумаете что, тятенька, чтобы не идти мне в этот класс?

Отец серьёзно ответил:

— Можно покумекать.

— Покумекай, тять, пожалуйста!

Надежда Александровна встала; к ней подошли её близнецы и обняли мать.

— Неа, не прокатит, Фёдор Фёдорович. Но раз уж мне решать, куда ехать... у меня ведь ещё целая неделя в запасе, чтобы всё обмозговать, прочувствовать. Столько лет никуда не выбиралась... А может, меня потянет в Дубай? — ответила она с игривой усмешкой.

— Чего? — изумлённо выдохнул Фёдор Викторович.

Надежда Александровна шагнула к нему, мягко тронула его руку:

— Дайте мне время... обдумать.

— Хорошо, — отозвался отец семейства, задумчиво теребя бороду.

— Ах, проказник муж мой, — прошептала она с улыбкой, — и сигналы-то у него всё к любви!

Дети подбежали к матери, облепили её со всех сторон:

— Ну мам, только долго не томи! Куда мы интересно все поедем?

Надежда Александровна, не ответив, плавно поднялась вверх, в свою спальню. Дети рассыпались по улице серебристыми ручейками смеха. Златогорка ушла к оленухе Важенке — кормить; Тундра поплелась за ней, как тень за солнцем.

За годы их совместной жизни спальня преобразилась до неузнаваемости: здесь было всё — и широкая кровать, и отдельные гардеробные для него и неё, и просторная ванная с санузлом. Всё — только для них двоих.

Надежда Александровна ступила в спальню, и свет настольной лампы разлился по комнате мягким, медовым теплом. Стены из тёплого дерева дышали уютом, соседствуя с аккуратными полками, где корешки книг выстроились в молчаливый строй. Внизу пушистым облаком лежал ковёр, а у окна замер современный письменный стол с ноутбуком, который она включала редко, верная шороху бумаги и живому бегу чернил. Она опустилась на край кровати, где аккуратно, словно в объятиях сна, покоился шерстяной плед ручной вязки — подарок от Златогорки, хранящий тепло её рук.

Фёдор Викторович вошёл следом, и дверь за ним прикрылась с едва слышным щелчком, словно ставя точку в суе дня. Он остановился, опершись плечом о косяк, и взглянул на неё с той неповторимой смесью восхищения и хитрецы, что за двадцать лет брака стала для неё родной — до каждой морщинки у глаз, до каждого тёплого лучика в зрачках.

— Ну что, Монголка моя, — начал он, шагнув к ней, и голос его дрогнул, точно тронутая струна, — угадала ты всё верно. И нечего на меня так смотреть. Я знаю — от тебя таиться бесполезно. — Он опустился рядом, бережно взял её руку, словно хрупкую птицу. — Мы едем в тундру. К Кюнней, к её семье, в стойбище. К шаманам. Поедем всем домом, после дня рождения дочери, на несколько недель. Я уже всё продумал: и машины снарядил, и с Ильёй сговорился — он за хозяйством приглядит, и с родителями Кюнней связь наладил — они нас ждут. Глушь там, правда, настоящая, но нам не впервой.

Надежда Александровна высвободила руку и встала, подошла к окну, за которым тайга стояла тёмной стеной, — июльское небо ещё не совсем потемнело, и вдалеке угадывалась полоска заката, будто последний вздох уходящего дня. Она обернулась, и в её глазах мелькнула искра той самой строптивости, что когда-то покорила его:

— Фёдор Викторович, вы что же, всерьёз решили, что я не замечу, как вы неделями на карту поглядывали, в телефоне что-то высматривали да с Аркадием шептались? Аркадий — командир вертолётного экипажа. Я ведь не слепая. Но я не против. Кюнней — девочка славная, и её семья мне по душе. Только прошу вас: не делайте вид, будто я тут решаю, а вы лишь исполняете. Мы оба знаем, что маршрут давно проложен вами, и я лишь должна сказать «да», чтобы вы почувствовали себя благодетелем.

Фёдор Викторович рассмеялся — негромко, но с той бархатистой хрипотцой, что всегда выдавала его истинное удовольствие. Он подошёл к ней сзади, обнял за плечи и поцеловал в макушку, пахнущую хвоей и тонким, приятным ароматом парфюма:

— Ах ты, колючка моя. Ну правду говорят: в тебе кровь шаманов течёт. Всё видишь, всё чувствуешь наперёд. Да, я планировал. И если честно, я хочу, чтобы ты сама выбрала этот путь, а не просто согласилась — по привычке или из вежливости. Потому что я знаю, как ты тоскуешь по просторам, по ветру в лицо, по тем забытым богами местам, где нет интернета и можно дышать полной грудью, до самого доньшка лёгких. Мы ведь давно не выбирались всем скопом, без суеты, без назойливых телефонных звонков. Пусть дети увидят, как жили их предки, пусть запомнят это лето — на всю жизнь, как первое слово, как первый вольный вздох.

Надежда Александровна повернулась в его объятиях, устремив взгляд прямо в глубину его глаз. В спальне стояла та особенная тишина, что бывает только на стыке дня и ночи, — и сквозь неё из детской донёлся звонкий спор близнецов. Фёдор Фёдорович тотчас вмешался, отчеканив команду отцовским тоном — точь-в-точь копия самого главы семейства. Дети уже вернулись с улицы, но в доме незыблемо жил неписанный закон: если мать с отцом заперлись вечером в спальне — порог переступать нельзя. Только когда отец сам позовёт на колыбельную. Однако в последнее время они выросли. Засыпали сами. Вот и дождался глава семейства их самостоятельности — да только радости в том не было. Напротив, тоска грызла его по тем временам, когда они ещё были крошками — беззащитными, тёплыми, до боли родными. Надежда улыбнулась:

— Ладно, Горыня. Я согласна. Но имей в виду: я хочу, чтобы поездка была настоящей — с ночлегом у костра, с рыбалкой на утренней зорьке, с теми долгими разговорами, когда дети засыпают, а мы сидим и смотрим на звёзды. Чтобы Кюнней и её родители почувствовали: мы не просто гости, а родня. И ещё, — она погрозила пальцем, — без ваших дурацких сюрпризов, Фёдор Викторович. В прошлый раз, когда вы решили «удивить» меня маршрутом через болота, мы три дня отмывали сапоги и половину вещей испортили.

Фёдор Викторович прижал её к себе крепче, чувствуя, как тело её обмякает, оттаивает в его руках, и шепнул на ухо:

— Ну, болот боле не сулю, а один заветный тайничок всё ж поберёг. Невелик он, да добр сердцем. А ныне ступай-ка к детушкам, слышу я — без нас уж там хоромы на уши ставят. Тундра, знать, у Важенки заночевала.

Он мягко взял её за длань, повлёк к порогу, да на исходе придержал шаг, обернулся и молвил:

— Заутра сама им поведай, а то от их допросов я вот-вот челом о стену учну биться. Стар становлюсь, видать... — проворчал он в бороду.

Летними ночами детям дарована свобода — прозрачная, как воздух перед рассветом. Но они, как правило, оставались дома: кто в своей комнате, уткнувшись в экран компьютера, кто завис в телефоне, словно в забытом сне. «Вот тебе и все прогулки», — ворчал отец, качая головой. Родители с утра до вечера в заботах, а к десяти уже отходят ко сну, и ребята понимают: им нужен отдых. Столько ответственности лежит на любимых, дорогих родителях... И потому летом детям позволено гулять до самых петухов — такое доверие даруют они, словно звёзды, щедро рассыпанные по небу.

Фёдор Викторович, едва Надежда Александровна засыпала, спускался в кухню — главный хранитель дома, неусыпный и тихий. Он наливал домовому блюдечку молока и клал печенье. «Спасибо за помощь, Степаныч», — шептал он. Надя иногда спрашивала: «А имя у Степаныча есть?» — «Конечно, — отвечал Фёдор. — Ермолай Степанович». Об этом кормлении знала только она. А Ермолай Степанович — так звали покойного мужа бабушки Абийе, прежнего хозяина дома. И домового он называл неспроста: он ничего не делал просто так.

Дом для славянина — не просто сруб да крыша, а живая душа, зрячая, дышащая, помнящая. Незримый Дед с белой бородой бережёт сей покой: спит за печью, ворошит угли, мурлычет, словно ветер в трубе. Но коли сор не выметен, посуда не мыта, али ссора при чужих полых-

нула — начинает шалить: гремит горшками, гасит лучину, насыляет сны тяжкие. В новый дом его заманивали лаской да хлебом: «Дедушка-соседушка, пойдём со мной».

Отсюда пошли обряды древние. Под красный угол клали монету и шерсть — дар Домовому. Строить в понедельник али среду не начинали: осерчает — стены погниют. Если скотина хворала, не к ветеринару спешили, а выносили за порог кашу, кланялись на четыре стороны света. Дети боялись подпечья — там, баяли, мохнатый дед с жёлтыми глазами сидит. Но взрослые знали: с почтением не обидит.

Века прошли, вера сменилась. Священники звали Домового бесом, изгоняли молитвой, но крестьянская мудрость крепче догм: в сумерках шептали ему ласково, в сенях матом не бранились. Так языческий дух прижился под крышей христианской — не крестили, не проклинали, уважали настороженно.

Особо чтили печь — родовой центр, пуп земли крестьянской. Здесь рождались, здесь лечились, здесь и хоронили. Домовой жил в печи: дунуть на угли не смей — вызов духу, зола рассыплется не так — жди ссоры. Верили, что облик кота принимает на шестке. Повитуха клала младенца на порог печи — чтобы благословил на долгую жизнь.

Нынче в это мало кто верует. Но в глухих сёлах Новгородчины до сих пор ставят на ночь хлеб: «Домовой-батюшка, храни наш дом, не пускай лихого». И в жесте том — древняя память, неподвластная времени. Дом — мост меж живыми и предками. Он учит: дом не стены, а живое — дышит треском дров, плачет скрипом половиц, улыбается теплом углей. И каждый обряд, бездумно повторённый за бабкой, — звено цепи, что не даёт бытовому огню погаснуть.

Главное — домовому ни в коем разе не дари игральные карты: может проиграть и дом в карты. А может и домовиху привезти — вопрос спорный и открытый, но место имел быть. В преданиях говорится: домовый и домовиха — два разных персонажа. Домовой — дух-хозяин, покровитель семьи и хозяйства. А домовиха — по одним поверьям, жена его, по другим — дочь али помощница, что присматривает за детьми и огнём в очаге. Мы привыкли думать, что Домовой одинок, как перст. Но в ряде губерний Российского государства бытовало представление, что не один он хозяйничает в доме, а есть у него подруга.

Ещё знаменитый лингвист, изучавший русский народный эпос, Дмитрий Николаевич Ушаков, в 1896 году писал, что жена Домового — Домовиха, она же Доможириха. Сведения о ней не шибко подробны. В Архангельской губернии «она как баба перед несчастьем плачет, перед прибытком хлопочет у кросов; если где плачет ребёнок-домовичка (дитя невидимое), то нужно накрыть то место платком, скатертью — тогда домовичка будет отвечать на вопросы о будущем, покуда не откроют её ребёнка». Стало быть, есть и дочка — Домовинка, и сыночек — Домовёнок. Так что домовёнок Кузя — не выдумка писателя Татьяны Александровой, а сущность, жившая в народном эпосе задолго до неё.

Не стоит злоупотреблять терпением мамыши, пусть и мистической: вопросы задавать изредка, а после попросить прощения и поблагодарить. Хочется уточнить: имён у подружки Домового множество: домовиха, Доможириха, Домаха, доманя, домовичка, большуха, домовичиха.

В Смоленской былинке Домаха ткёт в бане; узнав о смерти хозяйки, «как в ладоши хлопает» и уходит в поля, «плача голосом приятным, как у кукушечки». Зазыв: «Царь-домовой

и царица-Домовица, примите нашу хлеб-соль!» А при переезде во Владимирской губернии: «Дом-домовой, пойдём со мной, веди и Домовиху-госпожу, как умею награжу». Перед Рождественским постом на Филиппово заговенье готовили обильную трапезу и звали на угощение домового с семьёй: «Царь домовый, царица домовая, с малыми детками, милости просим с нами заговлять».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.